

ЭДВАРД
РАДЗИНСКИЙ
НАПОЛЕОН

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ



Эдвард Станиславович Радзинский

Наполеон. Жизнь после смерти

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134389

Наполеон. Жизнь после смерти: Зебра Е, Аргументы и Факты. Экспресс-Сервис; М.: 2005
ISBN 5-94663-248-5

Аннотация

В своем новом романе Эдвард Радзинский не перестает удивлять нас невероятными историческими фактами. Роман написан в форме записок императора Наполеона, продиктованных им своему секретарю на острове Святой Елены. В них император рассказал о своем детстве и начале военной карьеры, победоносных битвах и любовных приключениях, о пути к власти – сначала во Франции, потом в Европе...

Но был ли император полностью правдив? И зачем он диктовал свои записки – для себя, для потомков... или совсем с другой целью?

Новая, совершенно неожиданная версия жизни и гибели великого Наполеона Бонапарта – в романе «Наполеон: жизнь после смерти». Новая книга Эдварда Радзинского из знаменитого цикла исторических исследований о великих правителях. Книги «Николай II», «Сталин» в течение длительного времени занимали первые места среди бестселлеров. И сейчас эти книги вызывают живой интерес и у молодого, и более старшего поколения, по-прежнему читаемы и пользуются невероятным спросом.

Поражения Наполеона, императора Франции, были забыты – остались только победы. И хотя в сонм бессмертных ему не удалось войти владыкой величайшей империи, он вошел в него куда более прочно – гением и страдальцем. А его старый враг Шатобриан вынужден был написать: «Это Карл Великий и Александр Македонский, какими их изображали древние эпосы. Этот фантастический герой и пребудет теперь, после смерти императора, единственно реальным...»

Книга также выходила под названием «Наполеон. Мемуары корсиканца».

Содержание

Из архива Шатобриана	4
Рукопись	5
Обычный вечер	9
Жаркие дни после Ватерлоо	20
Генерал Бонапарт	36
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Эдвард Радзинский

Наполеон. Жизнь после смерти

Из архива Шатобриана ***Письмо издателю***

Я купил рукопись Лас-Каза в сентябре 1842 года в Женеве. Основной текст рукописи написан, видимо, в 1815 году. Но много позднее автором были сделаны многочисленные вставки в этот текст – другими чернилами. Думаю, их следует набирать курсивом.

P. S. Вчера я читал рукопись маленькому Гийому. Ему четырнадцать лет, он родился после смерти Бонапарта, и все великие имена, столь недавно будоражившие воображение века, ему уже неизвестны. Банальное, но, увы, вечное – Sic transit gloria mundi! А что будет еще через десяток лет?..

Поэтому высылаю с нарочным самые краткие (ибо ненавижу, когда прерывают чтение) примечания.

Рукопись

Долго смотрел я на свою, увы, дрожащую руку: переплетение морщин – таинственная карта...

Однако к делу. С острова Святой Елены вернулся мой сын... Нехороша фраза. Нет в ней силы, как любил говорить император. Он умел чеканить строку. Его обращения к армии... «красноречие победы»...

Король¹ послал целую делегацию выполнить последнюю волю императора – привезти его тело в Париж. Я не поехал: мне восемьдесят лет, и я вижу все хуже и хуже. Книги, труд с пером убили мое зрение...

А на остров за гробом отправилась знакомая (но – увы! – прополотая временем) компания – те, кто разделял вместе со мной изгнание императора.

Поехали:

Мой сын.

Гофмейстер двора императора граф Бертран. (Теперь ему под семьдесят. Его белокурая жена Фанни умерла, он поехал с сыном.)

Камердинер императора Луи Маршан. (Я помню его юношей, а нынче он – почтенный буржуа.)

Слуги императора Сен-Дени и Новерра – повар и конюх.

Генерал Гурго. Этот несносный человек сохранил свой отвратительный характер и в долгом плавании сумел перессориться со всеми.

Не поехали:

Я.

Граф Монтолон. Говорят, что за какие-то девять лет он промотал полтора миллиона франков. Буквально за несколько месяцев до поездки он поступил на службу к племяннику императора². Монтолон умудрился возглавить экспедицию, которая должна была свергнуть короля и возвести на трон Луи Наполеона. Эти идиоты решили повторить подвиг покойного императора. Но великий побег с острова Эльба превратился в жалкую комедию. В их заговоре, конечно же, участвовали агенты короля, и когда простаки высадились в Булони, их уже ждали. Графа Монтолона осудили на двадцать лет.

*Врачи, лечившие императора, О'Мира и Антомарки. Оба этих лекаря весьма поспешно последовали на тот свет за знаменитым пациентом. Мне хочется написать – **слишком поспешно...***

На острове императора похоронили, как он того желал – подле родника с чистой водой, текущего мимо двух ив, на небольшой полянке, заросшей цветами. Место называлось «Долина герани».

Хорошо помню, как он впервые увидел это место с вершины оврага. И, усмехнувшись, сказал мне: «Здесь меня следует похоронить». Это случилось месяца через три после нашего приезда. Он тогда был отменно здоров, в расцвете сил – ведь ему не было и пятидесяти... Так что я только улыбнулся.

Но там его и похоронили. Там он и лежал почти двадцать лет и ждал, пока за ним приедут из Парижа. Ждал под безымянной плитой, которую охраняли английские солдаты.

¹ Луи Филипп.

² Луи Наполеон, ставший после смерти Римского короля (сын Наполеона) наследником династии Бонапартов.

Я не видел ни похорон, ни могилы. Император умер после того, как меня увезли с острова.

Сын рассказывал мне: когда подняли безымянную плиту, под нею оказались еще несколько тяжелых плит (две были отлиты из металла). Император покоился в четырех гробах, заключенных друг в друга. Так англичане стерегли его после смерти...

Наконец открыли последний гроб. В истлевшей одежде, покрытый истлевающим синим плащом с серебряным шитьем (в нем он был при Маренго), император лежал совершенно... живой. Он был таинственно не тронут тлением!

И Бертран воскликнул:

– Как он помолодел... юноша!

– Просто мы стали стариками, – ответил Маршан, – а император все такой же.

– Нет, – шептал Бертран, – он отчего-то не подвергся тлению. А ведь его не балъзамировали...

– Он всегда побеждал, – сказал Маршан. – Победил и тление. Фраза слишком патетичная для бывшего камердинера. Я слышал в ней голос императора.

После чего Маршан вынул бумагу и прочел несложные и странные строки:

– Император завещал передать вам: он всегда знал, что вернется в свой город, и Париж еще услышит знакомое: «Да здравствует император!»

Мой сын сказал, что все это было написано... рукой самого императора! И тогда вся компания прокричала над открытым гробом:

– Да здравствует император!

Теперь я уверен: Маршан всё знал. И император знал, что не подвергнется тлению...

Я пошел встречать его гроб, когда он прибыл во Францию, хотя сын отговаривал – декабрь, ледяной ветер... Я стоял в толпе. И в меркнувшем свете (мои глаза!) неясно видел, как гроб, покрытый черным покрывалом, плыл в воздухе, качался на фоне парусов.

Император вернулся.

Я сильно простудился. Встану ли?..

Открываю записную книжку и в который раз перечитываю старые записи.

Его тайна...

25 ноября 1816 года я в последний раз видел императора.

В ту ночь, вопреки обыкновению, он отпустил меня рано. Я тотчас уснул, но посреди ночи проснулся от ужасающего грохота. Выбили дверь. Ворвались. Зажгли свечи... Солдаты побросали мои вещи в сундуки.

Как я боялся вмешательства императора! У его постели всегда стояло заряженное ружье... Но из спальни не донеслось ни звука. Неужели он не проснулся? Какое счастье!

Меня вывели в ночь. И в окне я увидел... лицо императора! Освещенный свечой – ее держал Маршан – император совершенно спокойно смотрел, как меня уводили...

Только теперь я понимаю: он этого хотел. Ведь вместе со мной на волю уходило все, что он рассказал мне...

Через час я сидел в маленькой камере. Утром пришел губернатор. Говорят, доктор О'Мира рассказал ему о слабом здоровье моего сына – просил не высылать меня. Губернатор ответил: «Что значит для большой политики смерть одного ребенка!»

Губернатор проследовал в камеру. Потрясая моим (перехваченным) письмом, он кричал, что предупреждал меня не писать клевету на него и английскую корону, прославляя преступника – «генерала Бонапарта» (так он называл императора). Я тотчас предупредил, что хотя сейчас, к его счастью, я безоружен, но – клянусь честью Лас-Казов! – впоследствии отыщу его хоть на дне морском. И он мне ответит – мы будем драться!.. Жалкий трус пытался расхохотаться, но по лицу было видно – испуган.

Потом меня посадили на корабль, идущий до мыса Доброй Надежды. Я заболел тропической лихорадкой, несколько месяцев провалялся в госпитале. Но Господь помог мне. Вопреки приказу губернатора, меня с сыном отправили в Лондон. Мои бумаги были опечатаны и лежали в каюте капитана. В Лондоне их отобрали. Но кое-что я сумел спрятать...

Через много лет я вернул все свои бумаги. И написал, книгу, которая стала знаменитой. Я составил ее из записей, которые продиктовал мне император. Величайшие умы нашего времени признают, что во многом благодаря этой книге он вновь стал кумиром просвещенной Европы.

И вот вчера вернулся на родину и его прах. Но только теперь, вспоминая все, перечитывая заново свои бумаги, я догадался... Я не понимал главного! Все мы – я, его свита, охранники, губернатор и даже сам остров, на который его сослали, – были лишь жалкими марионетками в игре императора. Точнее – в его последнем сражении, которое он выиграл при нашей общей помощи.

Да, я часто перечитываю его слова... И все, что произошло, представляется мне совсем в ином свете.

И его смерть – тоже.

О себе. Я – Эмманюэль Огюст Дьедонне Мариус Жозеф маркиз де Лас-Каз. Еще в XI веке мой предок прославился в сражениях с маврами. Я появился на Божий свет в родовом замке Лас-Казов в департаменте Верхняя Гаронна.

Судьба будто направляла нас друг к другу. Я учился в том же Парижском военном училище, которое четырем годами позже окончил император. Я был морским офицером, когда познакомился на Мартинике с Жозефиной де Богарне (тогда ее звали Мари Жозе-Роз Таше де ля Пажери). Креолка... она – само желание, маленькая богиня... Потом судьба разбросала нас.

После революции я эмигрировал, был в армии принца Конде, сражавшейся против Республики. И только при императоре получил возможность вернуться во Францию. Тогда я и узнал обо всех событиях бурной жизни моей хорошей знакомой. Оказалось, она переехала в Париж, где вышла замуж за виконта де Богарне, впоследствии генерала революции (и, конечно же, гильотинированного той же революцией). Креолку спасло только падение Робеспьера. Ну а далее, как известно, она стала женой генерала Бонапарта и, наконец, императрицей французов.

Благодаря Жозефине (во-вторых) и собственным достоинствам (надеюсь, во-первых), я сделал карьеру в империи: получил графский титул, пост камергера и успешно исполнил ряд секретных дипломатических поручений. Но главное – стал автором «Исторического и географического Атласа», весьма популярного в Европе.

В окружении императора я появился после его возвращения с Эльбы, во время великих Ста дней, «когда орел вновь распростер крылья над Францией» (его фраза). Но только после Ватерлоо, в дни отречения, я оказался рядом с императором. И вместе с ним отправился на Святую Елену.

Я пробыл там почти год, и все это время непрерывно вел записи под диктовку императора. Порой мы работали по шестнадцать часов в сутки... пока не наступил тот самый день – 25 ноября 1816 года.

Лицо императора, освещенное свечой в окне... оно исчезает в ночи... Скоро, скоро оно исчезнет вместе со мной...

Обычный вечер

Первый раз догадка о его тайне мелькнула уже на острове. В тот вечер мы ужинали как всегда в восемь. И вначале все шло как заведено. Это был самый обычный вечер. Я описал его тогда же в своих записях.

Перед ужином он позвал меня в кабинет – маленькую комнатку. В доме их два десятка, в них живет полсотни человек. Слуги ютятся и в чердачных помещениях.

На месте дома когда-то был скотный двор. Целых полстолетия здесь мирно обитали домашние животные. И только недавно его превратили в жилище, настелив доски поверх свиных экскрементов. Сегодня утром прошел дождь и из-под досок особенно несет навозом. Это напоминает о прошлом дома... В другие дни запах менее силен, но постоянен.

На нашей проклятой скале всегда сыро – мы живем среди вечных туч. Когда внизу над долинами сияет солнце, здесь идут дожди. Книги и мои записи постоянно покрываются плесенью.

Но он, император-солдат, живший в палатке на бивуаках, не снимавший во время маршей по несколько дней сапог, будто не замечает ничтожества своего нынешнего жилища... Нет, не так: замечает, но не страдает.

Страдаем мы.

Император занимает две комнатки по двенадцать метров с низенькими потолками. Здесь его кабинет и спальня.

В кабинете на жалких обоях – портреты Марии Луизы, Жозефины и сына в столь нелепых здесь великолепных рамах из Тюильри. И огромный стол, занимающий почти всю комнату.

– Садитесь, – сказал мне милостиво император. – Сегодня после ужина я хочу прочесть в салоне вольтеровскую «Заиру».

Обычно после ужина он развлекает нас чтением своих любимых произведений. Но (тоже как обычно) пьеса куда-то запропастилась. Вещи как-то умудряются теряться в этой крохотной комнатке!

Император беспомощно ищет пьесу на столе, на стульях, даже на полу, подслеповато роется в бесконечных бумагах. Приподнимает карты собственных походов и походов Цезаря. Ворошит кипу страниц, записанных мною под его диктовку...

И тут я впервые замечаю: буквально в последние дни император начал стремительно (и загадочно) дряхлеть...

Пьеса нашлась на столе.

На том же столе вскроют его мертвое тело.

Она торчала из-под треуголки, которую император всегда почему-то кладет на стол поверх карт. И когда он, торжествуя, приподнял свою знаменитую, оставшуюся на тысячах картин треуголку, из-под нее выскочила огромная крыса. В доме множество крыс и они особенно полюбили треуголку императора.

Крыса плюхнулась на пол, и я с отвращением смотрел, как эта жирная тварь неторопливо уползала в дыру между досками. Император рассмеялся. Крысы его не смущают – они напоминают о походах, о времени славы...

Часы пробили восемь. Киприани (слуга, он же – уши императора) в черных панталонах и темно-зеленом мундире с золотым шитьем торжественно застыл у двери с бронзовым канделябром в руке.

С последним ударом часов он объявляет:

– Ужин Его Величества подан!

Император предлагает руку даме. Как обычно, это Альбина Монтолон, жена графа Монтолона. Другая дама – Фанни Бертран, жена гофмейстера – не пришла, лежит дома с мигренью. Так она объявила. На самом деле она попросту не любит наши «сборища».

Император и Альбина первыми входят в еще одну комнатуху, именуемую «столовой Его Величества». За ними следуем мы, три графа: Монтолон, Бертран и я, Лас-Каз. И чуть сади – один барон, генерал Гурго.

Генерал, как обычно, зол и старается затеять ссору. Я слышу, как он шепчет Монтолону: «Если ваша жена – шлюха и спит с императором, это еще не повод садиться на почетное место». (Почетные места – стулья рядом с императором.) Мне Гурго уже успел поведать, что не может видеть, как жадно я ем, «это неестественно при таком щедедушном теле». Садясь, он поспешил сказать неприятное и гофмейстеру: «Все же лучше иметь жену-шлюху, как у Монтолона, чем худую белобрысую селедку с вечной мигренью». И уже за едой он сообщает нам троем свистящим шепотом, что мы можем его «вызвать», если сочтем нужным.

Мы давно привыкли к генералу. И гофмейстер остается невозмутим, и Монтолон делает вид, что не расслышал. Только я не выдерживаю и шепчу в ответ что-то злое.

Император ужинает в мундире гвардейских егерей.

В нем его и похоронят.

Все мы сидим перед тарелками севрского фарфора, украшенными сценами его победоносных сражений. И с тоской глядим на пьесу, которую император торжественно положил рядом с собой. Понимаем, что чтения (император читает ужасающе, усыпительно-монотонно) не избежать.

Покончив с едой, переходим в «салон» – еще одну столь же восхитительную комнатуху, пахнущую навозом. И, как обычно, Альбина Монтолон поет любимые арии императора.

Потом играем в карты. Император рассеянно глядит куда-то поверх голов и равнодушно проигрывает несколько золотых наполеондоров.

Потом, опять же как обычно, он заговорил о литературе. Заговорил со мной – остальным эта тема скучна.

На сей раз император хвалит Шатобриана. И себя – за то, что не отправил Шатобриана в тюрьму.

Он глядит на меня, и я понимаю – этот разговор нужно записать.

– Я несколько раз должен был посадить его в Венсеннский замок! Сначала Шатобриан написал в своей газете... – Император с удовольствием цитирует по памяти: – «Что с того, что Нерон процветает, где-то в империи уже рожден Тацит». Нерон, как всем должно было быть понятно, – я. А Тацит, конечно же... Не обращать внимания на газеты – это то же, что заснуть на краю пропасти. И я позвал к себе Шатобриана. Лесть – отличное средство, чтобы держать в узде господ литераторов... Я сказал Шатобриану: «Как странно – маленькая литература всегда за меня, а великая почему-то против». Он молчал, хотя по лицу было видно – доволен! Тем временем у него сделали тайный обыск и нашли некую рукопись о смерти Бомарше, где были какие-то глупости обо мне, о бегстве короля... – Император, усмехнувшись, посмотрел на меня. – Это можно не записывать. Потом мне передали речь Шатобри-

ана, которую он собирался произнести при вступлении в Академию. Когда я прочел ее, я был краток: «Ему повезло. Будь она произнесена, этого господина непременно пришлось бы отправить в каменный мешок». Но, ценя поэта, я сам занялся правкой его речи. И, конечно же, он отказался ее исправить. И, конечно же, я его не тронул – но отправил в ссылку... Но воздадим ему должное: он много сделал для торжества любимых им Бурбонов. И он воистину великий человек...

Я понял – это надо записывать. Император кивнул. И вздохнув, прибавил, что вообще-то Шатобриана он не любил, и что поэт в своих памфлетах против него часто опускался до клеветы.

Это записывать было не нужно.

– Но за одну фразу Шатобриана о Фуше и Талейране, – продолжал император, – я все готов ему простить. Когда жалкий король вернулся в Париж, перед его покоями появились мсье Талейран и мсье Фуше. И Шатобриан заметил: «Вот идет Порок об руку со Злодеянием!»

Это необходимо было записать. Император вновь одобрительно кивнул и пояснил:

– У Шатобриана лучшее перо во Франции. Прочтя наши слова о себе, он не преминет написать и о нас что-то стоящее.

Император, как всегда, думал об Истории.

«Он вернул Богу самую могучую душу, когда-либо вдохнувшую жизнь в глину, из которой лепится человек», – написал Шатобриан после смерти императора.

Император и здесь не ошибся.

Он заговорил о Цезаре, попросил Гурго принести карту. И по карте дал несколько ценных советов галлам, как им было лучше выстроить оборону против Цезаря две тысячи лет назад. Жаль, что галлы не могли этого услышать...

Потом он сказал:

– А теперь, господа, идемте в театр.

Сие означало: он будет читать пьесу.

Император читал «Заиру» усыпительным голосом и снова давал советы. На сей раз Вольтеру – как ему было лучше написать последнее действие. Жаль, что и Вольтер в своей могиле не мог этого слышать...

Он кивнул мне, и я записал его советы Вольтеру.

Потом он сравнил «Заиру» с «Тартюфом» и заговорил о Мольере:

– Мир – это воистину великая комедия, где на одного Мольера приходится с десятков Тартюфов. – Он скосил глаза, удостоверился, что я записываю, и прибавил: – Но я не колебался бы запретить постановку этой великой пьесы: там есть несколько сцен, оскорбляющих нравственность.

Это записывать явно не стоило. Я отложил перо.

Император кивнул.

Все, кроме меня, после сытного обеда борются с дремотой. Но «салон» нельзя покидать, пока император не скажет обычное: «Который час, господа? Ба! Однако пора спать!»

Сегодня император особенно милостив. К восторгу присутствующих, он глядит на часы Фридриха Великого, стоящие на камине, и говорит:

– Ба! Однако...

Он встает.

– Пора спать!

Перед сном камердинер Маршан позвал меня в спальню императора.

Потертый ковер на полу, муслиновые занавески на окнах, грубые деревянные стулья и походная кровать с зеленым пологом из его палатки под Аустерлицем. Перед кроватью китайская ширма. На камине серебряная лампа и серебряный таз для умывания. Остатки империи...

В спальне я застал скандального генерала. Император говорил ему, снимая мундир:

– Послушайте, Гурго, вы несносны. Вы действительно спасли мне жизнь в России, вы храбрый солдат и хороший штабной офицер, с вами интересно обсуждать походы Цезаря, но... вы несносны!

– Вы окружены льстецами, только их и цените. А этот Лас-Каз, с которым вы неразлучны и позволяете ему записывать за вами... он первый вас и предаст, – сказал Гурго, глядя прямо на меня.

Я собирался ответить наглецу, но император предостерегающе поднял руку:

– Это не так, и вы это сами знаете. Но если бы и так.. Я люблю полезных мне людей и люблю в той мере, в какой они полезны. Мне нет дела до того, что они думают. Если они впоследствии предадут меня... что ж, они сделают то же, что и многие другие. Род человеческий должен состоять из очень больших негодяев, чтобы оправдать мое мнение о нем.

Он засмеялся. Гурго угрюмо молчал.

– Простите его, Лас-Каз. Он нервен, ибо молод... и ему, видимо, попросту нужна женщина. Но это не повод беситься и бесить нас всех. В конце концов, Гурго, спуститесь вниз, в городок, и уладьте это обстоятельство. Или поступайте, как я – не думайте о женщинах. Если о них не думаешь, они не нужны. Берите пример с меня.

Тут Гурго не выдержал. Его понесло:

– Брать пример с вас, Сир? Вчера я застал Альбину в вашей комнате полуодетой. А до этого я видел... она сидела около вас в ванной!

Император усмехнулся:

– Ну хорошо, даже если я сплю с нею... а это отнюдь не так... что тут обидного для вас?

– Нет, в это я не верю, – съязвил генерал, – не могу даже предположить, что у Вашего Величества такой дурной вкус!

Император посмотрел на него. У него бывает страшный взгляд: в нем нет ни злости, ни угрозы – просто бездна. И ты содрогаешься...

– Простите меня, Ваше Величество, – прошептал Гурго.

В июле 1816-го Альбина родила девочку и назвала ее Наполеона. И покинула остров.

Подавленный Гурго ждал разрешения удалиться. Император долго молчал, потом заговорил:

– Потерпите немного. Когда я умру, вам всем достанется приличное состояние – я об этом позаботился. Но сейчас, в этом аду, мне хочется видеть вокруг себя только веселые лица. И если вы не можете... лучше уезжайте. Я вас отпущу.

И когда окончательно уничтоженный Гурго уходил, император вдруг сказал:

– Неужели вы думаете, что я не переживаю самые горькие минуты, когда просыпаюсь ночью и вспоминаю... Но я же терплю!

Гурго заплакал.

Впрочем, придя в свою комнату (ему определили самую убогую, ибо он приехал один – я был с сыном, Бертран и Монтолон с женами), Гурго не простил себе слез. И мстительно

записал в дневнике «Жалкий Монтолон, какую роль он играет! И этот противный уродец Лас-Каз, который столько о себе думает!»

Поразмыслив, он внес в дневник и последние слова императора. А потом на протяжении недели каждый день писал одно и то же: «Скука... Скука... Великая скука!»

Незадолго перед моим отъездом Гурго со злобной улыбкой показал мне эти записи.

Мы с императором одни. Второй час ночи. Император расхаживает по спальне, и очередная крыса ринулась от него в дыру между досками.

Он посмотрел на знаменитую кровать, на которой спал в дни Аустерлица. Кровать была расстелена, и ширма, прикрывавшая ее, отодвинута.

И вдруг император сказал:

– А ведь я на ней умру...

– Да что вы такое говорите, Ваше Величество, – запротестовал я, подумав: «Вот уж непохоже...» И посмотрел на него внимательно, чтобы ничего не пропустить, когда буду описывать его в моих записях.

Короткие ноги, крупная плоская голова, каштановые волосы, сильные плечи, толстая шея. Квадратный подбородок тяжеловат и несколько нарушает классичность профиля. У него красивый нос, лоб без единой морщины, великолепные зубы (которым завидовала Жозефина) и холеные руки. Полная (даже несколько женская) грудь с редкими волосами едва прикрыта халатом. Когда я впервые увидел его в ванне (он обожает там сидеть), я поразился – какой маленький член у императора... как у мальчика...

Таков облик человека, потрясшего воображение мира.

«Целых полтора десятка лет в Европе жил лишь один человек – все остальные стремились наполнить свои легкие воздухом, которым дышал он», – напишет все тот же Шатобриан. После падения императора по Европе прокатилась волна самоубийств молодых людей – мир для многих потерял былую притягательность.

– Вы правы, Лас-Каз, сейчас я здоров. – Император, как всегда, читал мысли. Для тех, кто был с ним рядом, это давно перестало быть удивительным, сделалось даже привычным. – Мое сердце делает шестьдесят два удара в минуту, я его попросту не чувствую. Природа наградила меня двумя способностями для истинного долголетия: спать в любое время суток и не излишествовать в еде и питье. Вода, воздух и чистота – главные лекарства в моей аптеке. У меня железное здоровье хорошего солдата. И все-таки... все-таки я скоро умру. И не надо тратить время на пустые возражения. Я уже говорил вам, что у меня есть некое внутреннее чувство... я всегда – слышите: *всегда!* – знаю, что меня ожидает. За семь дней до моего рождения на небе появилась комета. И поверьте, скоро она появится вновь – уже над этим островом. Кометы возвещают о рождении и смерти великих властителей... И еще: однажды ко дню рождения мне прислали забавный подарок. В Парижском военном училище разыскали мою юношескую тетрадь – записи по географии, знаменитый курс аббата Лакруа. И последняя запись в этой тетради была... вы уже догадались?

Он посмотрел на меня, застывшего с пером, и улыбнулся:

– «Святая Елена, маленький остров». И всё! Далее записи почему-то обрывались, хотя в тетради оставались пустые страницы, много пустых страниц. А ведь я тогда был беден и экономен... Я тотчас вспомнил об этом на корабле, когда эти негодяи объявили мне место изгнания. И понял – это моя последняя гавань... конец... Так и запишите: «Со мной никогда не случилось того, чего бы я не предвидел». Наши милые глупцы так и не поняли, почему сегодня я читал им «Заиру»...

И он продекламировал из вольтеровской пьесы:

– «Но увидеть Париж мне не достанет силы.
Ужель не видите – я на краю могилы!»

Так что я не удивился, когда узнал от Маршиана, что в первых числах февраля 1821 года (за три месяца до смерти императора) над Святой Еленой появилась... да, комета!

Маршан рассказывал: «Комета! – воскликнул император с какой-то странной радостью. – Я ждал ее! Комета возвестила смерть Цезаря и вот – возвещает мою...»

Третий час ночи. Император в вишневых шлепанцах и белом халате расхаживает по комнате. Он думает. Машинально тронул знаменитую треуголку, на этот раз положенную им на камин. Очередная крыса тотчас плюхнулась на пол. Как они полюбили его шляпу! И когда они только успевают туда залезть?

– Надо заделать, – бормочет он, глядя на дыру в полу.

В этой треуголке его похоронят.

Потом он сказал:

– Какой роман вся моя жизнь! – И добавил торжественно: – С сегодняшнего дня мы будем писать материалы к моему завещанию. Это непростая работа, к ней надо отнестись серьезно. Я хочу, чтобы после меня не осталось никаких долгов. Я должен отблагодарить по заслугам моих друзей. И врагов – тоже.

И тотчас начал диктовать, продолжая ходить по комнате:

– «Я оставляю в наследство всем царствующим домам **ужас и позор последних дней моей жизни!**» Вот начало моего завещания!..

Я хотел спать, я умирал... моя голова упала... Он засмеялся:

– Меневи́ль³ обычно падал именно в это время. Стоило мне задуматься, отвлечься... оборачиваюсь, а он спит. И рядом с ним мирно храпят мои министры.

Он посмотрел на мою голову, опять стукнувшуюся о стол.

– Ба! Вам пора спать.

Сегодня, повторюсь, он милостив.

Я вернулся к себе. Сон вдруг пропал. Я знал, что и он не ложится – сидит на кровати, а дождь стучит по крыше... Я представлял, как в темноте его душит бешенство.

Чем он занимается? С кем говорит? С этим ничтожеством Гурго, который посмел... Генерал спас его в России. Но и здесь, на острове, он, оказывается, тоже его спас. Киприани донес: Гурго рассказывал в городском кабаке, что недавно второй раз спас императора... когда на него напал бык! Вот правда о его сегодняшней жизни, о ее опасностях, героях! О жалких людях, делящих с ним изгнание!..

Бедный Маршан ждет, не гасит свечу. Его мать служила нянькой Римскому королю, и сам он с юности прислуживает императору. Маршан знает: пока император не спит, свечу гасить нельзя...

Наконец в тишине ночи сквозь тонкие перегородки я слышу звук – император лег, точнее – грузно, ничком упал на кровать. И наверняка, как обычно, в то же мгновение заснул.

И Маршан, услышав знакомое ровное дыхание, торопливо загасил свечу и ушел в свою каморку.

³ Секретарь императора.

Короткий сон овладевает императором. Раньше он спал по три часа – и этого ему хватало. Теперь порой хватает полчаса перед рассветом.

В ту ночь, уже засыпая, я вдруг снова явственно услышал его слова: «Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни!»

На следующее утро – все как обычно. Солнце только поднялось, но я уже слышу голос императора. Он ждет, когда караульные уйдут с постов у нашего дома. Он не желает появляться в присутствии неприятеля. Он запрещает себе быть пленником.

Но солдаты не могут уйти, пока его лицо не покажется в окне. Император это отлично знает. И начинается молчаливая игра: он глядит в окно, будто хочет удостовериться, ушли ли караульные, а в это время их командир может разглядеть в окне лицо императора. Теперь он имеет право передать губернатору – пленник не сбежал. «Корсиканское чудовище» (так называли его в Англии, так именует его губернатор) на острове, все в порядке.

Губернатор Гудсон Лоу – средних лет, и все в нем среднее. Никакое лицо – одно из тысяч английских лиц: узкое, с узким носом, не отражающее ни пороков, ни страстей. Маленький человек, счастливый правом распоряжаться вчерашним повелителем королей. И мучить его.

Но и сам губернатор – тоже мученик. Призрак Эльбы преследует его. На каждом корабле, прибывающем к острову, ему мерещатся заговорщики, каждый день ждет он бегства императора.

Караул покидает нас. Теперь император может выйти в сад.

Он в белом сюртуке, шлепанцах и в шляпе с широкими полями. Нетерпеливо трясет большим бронзовым колокольчиком:

– Маршан, не спи! Выспишься, когда вернешься к себе домой. Все тот же, но уже веселый намек на свою смерть.

Император в отличном настроении, он напевает:

– Мамзель Маршан, поднимайтесь, уже светло, встало солнце!

Несчастный, заспанный «мамзель Маршан» выходит из дома, неся серебряный тазик с водой, зеркало и походный несессер. Император замечает мое лицо в окне и говорит (уже для моих записей):

– Все стоящие правители вставали раньше своих слуг. И Фридриху Великому, и русской императрице Екатерине приходилось их будить.

Он садится на скамью. Выходят полусонные слуги. Один берет зеркало, другой растирает его жирную безволосую грудь полотенцем.

Император бреется сам. И говорит – опять же для моих записей:

– Убийцы начали охотиться за мной, как только я стал Первым консулом. С тех пор я предпочитаю сам держать бритву.

Он бросает взгляд на наш жалкий сад.

– Цветник Жозефины в Мальмезоне был больше...

Это тоже для моих записей.

От порта, от утопающих внизу в райской зелени домиков в наше обиталище, именуемое Лонгвуд, ведет дорога длиной в восемь километров. Несмотря на непрерывные дожди, земля здесь не плодоносит – редкая трава и маленькие деревца, стонущие под порывами вечного ветра.

Как всегда, император вынимает из кармана маленькую подзорную трубу и осматривает окружающий мир. Плато Лонгвуд окружено горными пиками. На одном из них сейчас видны красные мундиры – это один из сторожевых постов англичан. Там стоит пушка, которая бьет на закате и восходе и оповещает о прибытии кораблей.

– Все сделано грамотно, – говорит император.

Теперь его труба опущена вниз. Внизу виден лагерь и те же красные мундиры.

– Думаю, их сотен пять-шесть, – рассуждает император. – И расположены они так, чтобы видеть друг друга. А на холмах, – его подозрительная труба вновь вскинута вверх, – конечно же, дозорные. Видите сигнальные флажки? Они сообщают о том, что я делаю, вниз, на командный пункт. И по всей горе, донизу, концентрическими кругами стоит охрана.

Он засмеялся.

– Когда-то я хотел отобрать у Англии этот остров и намеревался послать сюда десант в полторы тысячи солдат. А они, по моим подсчетам, свезли сюда около трех тысяч... может, даже на сотню-другую поболее. – (Недавно я узнал – три тысячи двести!) – Таким образом, куда бы мы ни отправились, мы будем внутри линии часовых. Четыре бухты острова также охраняются...

Его труба уставилась на море, где были видны два брига, медленно плывущих один навстречу другому.

– Я подсчитал: нас стерегут с моря семь судов: пять постоянно дежурят в порту Джеймстауна, а два, как видите, непрерывно курсируют вдоль берега. Однако их просчет в том, что вся охрана вполне удовлетворена визуальным наблюдением за моей персоной. Пока они меня видят, они спокойны. Но есть ночь, когда я имею право быть невидимым... И тогда их главный страж – океан – легко может стать их врагом. Если ночью у берегов острова появятся несколько кораблей... хватило бы четырех...

Он снова засмеялся.

– Не записывайте этого, Лас-Каз. Клянусь, у меня нет никакого намерения бежать. – И добавил: – Поверьте, я **здесь совсем не за этим...**

Он работает (но немного) с лопатой в саду. Потом переодевается. Выходит в зеленом мундире с бархатным воротом, со звездой Почетного Легиона, в легендарной треуголке.

Граф Монтолон подводит ему коня. Как обычно по утрам – прогулка верхом. Меня император не приглашает – считает, что я дурной наездник.

Я смотрю, как исчезает кавалькада всадников: граф Бертран, генерал Гурго и граф Монтолон. Сейчас они остановятся у какого-нибудь поместья и попросят приюта в саду от поднимающегося солнца... Император любит поражать обывателей. Что ж, они на всю жизнь запомнят его приезд и знаменитую треуголку.

Вернувшись, он принимает ванну. Его ванна – небольшой чан, куда он с трудом помещается. В ванне император читает книги.

Перед обедом приходит врач-англичанин. Император обнажил жирный торс, и англичанин прикинул ухом к его сердцу. Не обращая внимания на призывы врача хоть немного помолчать, император привычно делится неосуществленными планами поругания Англии:

– Я должен был переправить через пролив двухсоттысячную армию. На четвертый день я вошел бы в Лондон и обратился с прокламацией к гражданам: «Мы пришли, как друзья, чтобы освободить британскую нацию от коррумпированной, развращенной аристократии». Я провозгласил бы республику, упразднил дворянство и палату лордов, с которыми Англия вскоре сгниет. Очень сожалею, что отказался от этого плана!

– Я уверен, что лондонцы сожгли бы свой город, но не сдали бы его врагу, – возражает англичанин.

– Нет-нет, вы слишком богаты и любите деньги, чтобы портить свое имущество. Так смогли поступить русские – у них нет имущества, все принадлежит их царю... Я привез бы в Англию великие идеи нашей революции. Отныне ничто не способно уничтожить или стереть ее великие принципы...

Помолчав, он обратился ко мне:

– Моя миссия во Франции – смыть кровавые пятна террора революции потоками славы. Я уничтожил анархию, упорядочил хаос. Люди, упрекающие меня за то, что я не дал достаточно свобод моему народу, забывают, что в тысяча восемьсот четвертом году лишь четверо из сотни французов умели читать. Всю ту меру свободы, которую я мог дать этим смышленным, но невежественным и развращенным революционной анархией массам, я дал.

Я торопливо записываю. Император весь во власти собственного монолога. Доктор печально просит своего пациента одеться. Император не слышит и продолжает дразнить его:

– Нет, очень жаль, что я не сделал всего этого с Англией. Теперь вашей стране предстоит сгнить на манер Венеции.

Наконец он одевается.

В 11 часов обед – куриный бульон (император считает его лекарством), два мясных и одно овощное блюдо. И два бокала разбавленного водой вина «Шамбертен».

После полудня на нем опять знаменитый сюртук со звездами Почетного легиона и Железной Короны. Император принимает посетителей.

Англичане постановили: императору зваться «генералом Бонапартом». И даже придумали ему официальный статус – «генерал без поручений». Это вызывает его постоянный гнев.

– Я не позволю навязать мне этот титул! Не потому что мне так уж важно, как они меня именуют... я всегда презирал жалких болванов, именовавшихся европейскими королями. Я обожал заявлять в их присутствии: «Когда я был лейтенантом во Втором полку в Балансе...» – и наблюдал, как вытягивались их рожи. Для меня трон всегда был куском дерева, обтянутым бархатом. Но я единственный монарх в Европе, получивший титул не от жалкой кучки епископов, а от всего французского народа. Я – император именем революции и не позволю в моем лице унижить эту великую даму. Я носил не только корону Франции, но и древнейшую корону Италии и позаботился, чтобы религия освятила мой титул – сам Папа благословил мое вступление на трон. Я думаю не о себе – о моем сыне, о будущем... Династия, в которой воплотилась сама революция, должна вернуться!

Он задумался и медленно произнес:

И я сделал все, чтобы **помочь ей вернуться как можно быстрее...**

Да, он сделал все. Но понял я это только теперь.

Он болезненно заботится о том, чтобы его приближенные (три десятка человек) помнили: они по-прежнему свита императора. И все мы обращаемся к нему – «Сир». И посетители письменно просят аудиенцию. Их встречаем мы – три графа и барон – и проводим к императору. В дверях ждет Киприани, который торжественно объявляет имя посетителя.

Франческо Киприани – особая личность, отнюдь не простой слуга. Он знает императора с малых лет, служил его семье. Они говорят друг с другом только по-корсикански. Это его император посылал с острова Эльба налаживать связи и собирать информацию во Францию. Киприани – шпион и верный пес императора.

Посетители императора, как правило, – английские чиновники, закончившие службу и уезжающие в Лондон. Они понимают, что удостоены исторической беседы. Император, как всегда, очаровывает. И визитеры повезут в Англию то, что нужно: рассказ о жестоком губернаторе и великом узнике – о Прометее, прикованном к скале.

Император улыбается...

Вечером нас навестил губернатор. Не в силах скрыть радости, он зачитал бумагу о том, что император и мы, его свита, проели слишком много денег. Отныне наш бюджет будет сокращен.

О, как этого ждал император! Тут же последовал его яростный крик, от которого еще несколько лет назад дрожали в ужасе монархи Европы:

– Как вы смеете говорить со мной о таких мелочах?! Кто вы такой? Я знаю имена всех ваших генералов, участвовавших в сражениях, и я готов беседовать с ними. Вы же – ничтожество! Штабной писаришка в войске Блюхера, вы никогда не имели чести командовать настоящими солдатами. А теперь, когда ваша страна обманула меня, бесчестно сослав сюда, вам дали право распоряжаться моей жизнью. Но не сердцем! Запомните: оно такое же гордое, как и в те – не столь давние! – дни, когда вся Европа слушалась моих приказаний, а ваши ничтожные правители умирали от страха, ожидая моего прихода на ваш жалкий островок!

Все это он выпалил залпом, с темпераментом, которому мог бы позавидовать сам великий Тальма. Бешеное лицо императора... Я боялся, что его хватит удар.

Губернатор выбежал из дома, дрожа от гнева, шепча бессильно: «Я покажу ему!» А император... преспокойно расхохотался. И сказал, глядя на мое изумленное лицо:

– Вы знаете, что говорил обо мне Талейран? «Его ярость никогда не поднимается выше шеи». Точнее, жопы... – Он остановился, подумал. – Нет, напишите все-таки «шеи»...

Мне рассказывали, что во дворец к императору часто приходил знаменитый Тальма – учить его актерскому искусству. Сейчас я вспомнил об этом.

Он привычно прочел мои мысли и добавил (уже для моей тетради):

– Да, часто говорили, что меня учил своему мастерству наш великий трагик. Будто я даже брал регулярные уроки. Какая глупость! Пожалуй, я сам мог бы поучить его. Тальма – живое воплощение нашей «Комеди Франсэз». Я уважаю этот театр и в горящей Москве даже написал для него Устав... Конечно, это тоже был театр: я попросту решил унять дурные слухи, доходившие тогда до Парижа. Ибо если император в столице противника находит время, чтобы заниматься Уставом для актеров, – у него наверняка все в порядке... Но поверьте, я с трудом выносил все эти бесконечные трагические завывания на сцене «Комеди». И после очередного спектакля не выдержал и сказал Тальма: «Приходите ко мне во дворец как-нибудь утром. Вы увидите в приемной весьма театральную толпу: принцесс, потерявших возлюбленных, государей, лишившихся царства, маршалов, выпрашивающих себе корону... Вокруг меня – обманутое честолюбие, пылкое соперничество, скорбь, скрытая в глубинах сердца, горе, которое прорвалось наружу. Мой дворец полон трагедий, и я сам порой ощущаю себя самым трагическим лицом нашего времени. Но разве мы вздымаем руки вверх? Испускаем истошные крики? Нет, мы говорим естественно, не правда ли? Так делали и те люди, которые до меня занимали мировую сцену и тоже играли свои трагедии на троне. Вот над чем стоит подумать вам, актерам неповторимой «Комеди Франсэз»!..

Император дал мне возможность все это записать и ушел раздумывать, как развить столь удачно начатую атаку на губернатора. Когда-то он воевал с целым континентом, теперь – с жалким губернатором...

План был составлен, и уже к вечеру Киприани спустился с нашей скалы в Джеймстаун, а утром весь остров шепотом передавал друг другу монолог императора.

Далее император развил успех. У него огромное состояние, однако он из принципа предпочитает жить на «тюремные деньги», которые ему выделяет Англия. И он приказывает принести столовое серебро.

– Рубите! – велит он.

Маршан и Бертран топорами порубили посуду на куски. И Киприани отправляется с этими кусками серебра в городок, в съестную лавку. Он ждет, когда туда зайдут английские офицеры с корабля, стоящего на рейде.

Офицеры заходят в лавку. И тогда слуга императора вываливает перед лавочником серебро.

– Сколько это стоит? – спрашивает он хозяина. И поясняет: – Я пришел продать вам его, чтобы прокормить нашего повелителя.

И он еще раз пересказывает монолог императора.

Завтра рассказ о нищете вчерашнего владыки мира и гнусном поведении сэра Гудсона Лоу поплывет в Европу.

Но император неумолим. Он продолжает наказывать губернатора. Сегодня он сказался больным и утром не вышел из дома. Губернатор пребывает в ужасе. Эльба! Призрак проклятой Эльбы! Он не выдерживает и днем посылает караульных. Мы отвечаем, что император нездоров. Посланцы требуют «предъявить генерала Бонапарта». Император велит отвечать солдатским матом.

Появляется сам губернатор. Он приказывает солдатам войти в дом (если понадобится – взломать дверь) и сообщить, там ли пленник.

Я наблюдаю, как император преспокойно заряжает ружье и говорит с радостной улыбкой:

– Если кто-нибудь войдет ко мне – клянусь, я его убью.

В этот момент он вновь на поле боя!

Он посмотрел на меня. Я кивнул – запишу.

Как всегда, положение спас Маршан. Он вышел к англичанам и шепотом пообещал приоткрыть занавеску. И английский караульный с облегчением смог написать в рапорте: «Наблюдал генерала Бонапарта в халате с ружьем в руках».

Больше в тот день нас не тревожили.

Перечитал всю сцену, записанную тогда. (Как изменился с тех пор мой почерк – все больше походит на почерк покойного отца!)

Повторюсь: я сблизился с императором после Ватерлоо. И то удивительное, очень странное, что случилось тогда на моих глазах и казалось подчас совершенным безумием, суждено мне понять только теперь.

Я выбираю из вороха записей те дни...

Жаркие дни после Ватерлоо

Только что я узнал – император проиграл битву при Ватерлоо. По слухам, очень много солдат погибло в кровавой резне. Старая гвардия прикрывала отход остатков наших войск, беспорядочно бежавших. Однако (опять же по слухам) маршал Груши сумел вывести свой корпус без потерь к Парижу.

Сегодня во время заседания Совета министров Люсьен⁴ рассказал о поражении при Ватерлоо и, говорят, тщетно пытался приуменьшить потери. Он сказал: «Гибель даже нескольких десятков тысяч солдат не должна решить судьбу Франции».

Но министры молчали...

Только что прискакал курьер – император приедет завтра. Союзники опять движутся на столицу. Второй раз в течение одного года должно произойти то, чего великий город не знал тринадцать веков – неприятель войдет в Париж. И оба раза позор случился в правление того, кто расширил границы империи до размеров всей Европы, при ком Франция правила миром!

Сегодня 21 июня. Рано утром император вернулся в Париж. Но слухи о катастрофе его обогнали.

Вместо Тюильри император решил остановиться в Елисейском дворце (многими это воспринято как знак краха). Я приехал во дворец.

Император сидит в зале с отсутствующим видом. Собрались министры. Он комментирует битву равнодушным голосом и вообще ведет себя странно – как посторонний.

Я слышал, как Люсьен говорил Гортензии⁵: «Он парализован и полностью покорился судьбе...»

Однако уже через пару часов его посетил прежний прилив энергии. Вечером опять собрали министров. Император начал излагать великолепный план новой кампании. Но вскоре погас и, не закончив речь, попрощался. И затворился в своем кабинете.

А враги не дремали! Лафайет добился экстренного созыва Палаты депутатов – и раздались грозные речи. Я вновь поспешил во дворец.

Стоит нестерпимая жара, но никто не покидает раскаленный город. Тысячи людей собрались на улицах, предместья пришли в Париж – как во времена революции. И рабочие, как это ни странно, – за него.

Бесконечные процессии идут мимо дворца. Народ приветствует императора...

Император выходит в сад. Все с тем же равнодушным видом слушает приветственные крики из-за решетки дворца. Он медленно расхаживает по саду. Замечает меня:

– А, это вы, Лас-Каз...

Я кланяюсь и подхожу ближе.

– Вам повезло – вы наблюдаете Историю. Вам будет что написать. Вы недурно пишете, я читал ваш «Атлас».

Император смотрит на часы – видимо, ждет возвращения брата, уехавшего в Палату депутатов. Забавно: когда-то Люсьен организовал переворот в Палате и сделал его первым консулом. Потом они были в ссоре. Теперь все забыто и Люсьен снова в Палате – спасает его.

⁴ Брат императора.

⁵ Падчерица императора.

При свете солнца я вижу, как изменился и обрюзг император. Тяжелое приземистое тело, мешки под глазами...

Люсьен сказал вчера Гортензии: «В первый момент я его не узнал – это развалина. Император французов исчез».

За воротами не смолкают крики: «Да здравствует император!» Но он будто не слышит, все так же медленно расхаживает по саду. И молчит.

Я останавливаюсь в стороне, чтобы не мешать ему думать.

– Да нет, идите рядом, – бросает он.

Так мы и ходим кругами под крики: «Да здравствует император!»

Наконец приехал из Палаты Люсьен. С ним маршал Даву. После поклонов и приветствий Люсьен начинает:

– Сир, только что Лафайет предложил Палате заседать непрерывно. И они приняли решение...

Он замолкает, смотрит на меня.

Император сухо бросает:

– Говорите при нем!

Мы проходим во дворец. Здесь Люсьен подробно рассказывает о вчерашней ночной встрече Фуше и Лафайета. (Дворцовая полиция, видимо, все еще неплохо работает. Или враги уже не желают таиться?)

– Фуше сказал Лафайету: «Как видите, я был прав. Этот человек.. – так он назвал вас, Сир, – вернулся еще более безумным, еще более воинственным и, что самое страшное, еще большим деспотом. Вы, Лафайет, – Французская революция, которая воскресла, чтобы его уничтожить». Они договорились устранить вас, Сир. Фуше пообещал Лафайету: «Мы так просто не сдадимся. Мы выговорим у союзников республику!» И этого было достаточно. Лафайет поверил, он с ними. Мираж республики соединил глупца-идеалиста с подлым интриганом. Фуше, конечно же, решил пока сам стать главой Франции и принести Бурбонам на блюде ваше отречение, Сир, а лучше – и вашу голову. Так он рассчитывает вымолить себе прощение за кровь короля. Он развел вас с Палатой, Сир! И сейчас там льются подлые речи...

Люсьен остановился, ожидая реакции брата.

– Продолжайте! – равнодушно сказал император.

Чтобы разбудить наконец его негодование, Люсьен читает по бумажке речь Лафайета:

– «Настал момент объединиться нам вокруг знамени восьмидесят девятого года – знамени свободы, равенства и порядка. Только под знаменем Великой революции мы сможем противостоять иностранным притязаниям и внутренним попыткам мятежа. И еще: я предлагаю объявить вне закона всякого, кто попытается совершить акт насилия по отношению к Палате представителей народа...» А дальше уже непосредственно о вас, Сир: «Я вижу между нами и миром одного человека. Пусть он уйдет – и будет мир».

– Далее? – все так же равнодушно произносит император.

– Далее – гром оваций. Аплодируют все – и старые республиканские безумцы, поверившие в возвращение революции, и сторонники Фуше, и испуганное «болото».

– Ну что ж, пусть делают, что хотят. На свою голову я приучил их только к победам – в беде они не могут прожить и дня... Поезжай, объясни безумцам, что революция, вернее, ее опасный призрак, и вправду вернулась!

Он указывает рукой за ограду, откуда несется рев тысяч глоток.

– Но этот призрак не с ними, не в зале Палаты. Он за ее окнами. И он – со мной.

– И это только начало, Сир. Предместья входят в Париж – Люсьен приободрился. Он добавляет, многозначительно улыбаясь: —

Кто-то сообщил народу, что происходит в Палате. И народ требует разогнать предателей!

Но ловкость брата не трогает императора. Он молчит.

А с улицы продолжают доноситься грозные вопли: «Да здравствует император! Депутатов на фонарь! Диктатуру императора!»

Император подходит к окну и глядит на тысячи людей, которые славят его. Люсьен громко шепчет:

– Надо распустить Палату и объявить: «Отечество в опасности!» Париж укреплен. Груши сохранил свою армию...

Но император по-прежнему молчит и смотрит на улицу. На лице Люсьена – отчаяние. А люди идут и идут мимо дворца...

Принесли последнее сообщение из Палаты: выступили Сийес и Карно. Они говорили об обороне Парижа, которую может организовать лишь один человек – император. Но Лафайет своей речью опять переломил ход заседания... И Люсьен, все еще надеясь разбудить гнев брата, читает (с выражением) патетические слова Лафайета:

– «Кости наших братьев и детей наших разбросаны от пустынь Африки до снегов Москвы. Миллионы жизней отдала Франция человеку, который и теперь мечтает о борьбе со всей Европой. Довольно!..»

– Глупец! – не выдерживает император.

– Сир, вы должны решиться!

Но император опять молчит.

Наступает ночь. Император уходит спать. Люсьен отправляется то ли в Палату, которая все еще заседает, то ли в город. Мы бодрствуем.

В половине четвертого утра приносят новое сообщение. Палата, охрипнув от воинственных речей, постановила: император должен отречься. В противном случае он будет объявлен вне закона.

Люсьен читает императору решение Палаты. Император остается совершенно равнодушным. Преспокойно пьет кофе. И о чем-то думает...

Приезжает Бенжамен Констан. Тот, кто во времена славы императора клеймил его «Чингисханом и Атиллой», теперь – его советник. Он перепуган:

– Сир, вас просят отречься...

Император не отвечает. Но отвечает улица:

– Да здравствует император! – ревет толпа из-за решетки дворца.

Он улыбается.

– Вы слышите голос простых людей? Разве я осыпал их почестями и деньгами? Нет, они мне ничем не обязаны. Они были и остались нищими, но их устами сейчас говорит вся страна. И достаточно одного моего слова, чтобы они расправились с жалкими безмозглыми строптивцами. Помните: если я пошевелю пальцем, ваша Палата перестанет существовать! Но я не для того вернулся с Эльбы, чтобы потопить Париж в крови!..

Он замолчал.

Последняя фраза мгновенно разлетелась по Парижу.

Впрочем, для того он и сказал ее нашему славному публицисту...

Из Палаты приносят проект отречения. Его подготовил Фуше.

Удивительный тип этот Фуше! У него мертвенно-бледное лицо – лицо трупа. В день гибели Робеспьера он все организовал, но выступали другие. Так и сегодня – выступал Лафайет, но все организовал он, Фуше.

– Мы теряем драгоценное время, – говорит Люсьен. – Умоляю, Сир, объявите мерзавцев вне закона. Велите! Решайтесь!

Император долго молчит. Наконец отвечает – глухим голосом:

– Я решился.

Он подходит к столу, берет перо. Быстро пишет.

– Читай, – говорит он брату.

Люсьен берет бумагу и, побледнев, читает вслух:

– «Моя политическая карьера окончена... Я отрекаюсь от престола в пользу моего сына Наполеона Второго...»

Неужели он не понимает: союзники не пойдут на это! Никогда и ни за что! Не для того они приходят в Париж...

Люсьен умоляет брата подождать, но император странно торопливо подписывает отречение.

– Передай его нашим глупцам. И скажи: уже вскоре они потеряют все, ради чего меня предали. У Лафайета не будет его республики, а у Фуше – его министерского поста.

Братья выходят в сад. Люсьен продолжает уговаривать. Он тычет пальцем в ревущий людской поток за оградой, откуда слышны бесконечные приветствия императору и проклятия депутатам.

– Они умоляют вас: «К оружию!» Вся Франция, Сир, сегодня провозглашает: «Да здравствует император!» Вы никогда не были так любимы! Мы разгоним депутатскую сволочь... как когда-то, восемнадцатого брюмера⁶. Нет, куда легче!

Император отвечает слишком громко – будто всем нам:

– Восемнадцатого брюмера я обнажил шпагу ради Франции. Сегодня я должен вложить ее в ножны, я не хочу гражданской войны. Я не могу залить страну кровью. Я не буду императором Жакерии.

Он снимает треуголку и стоит с обнаженной головой, отвечая на приветствия толпы.

Потом братья отходят в сторону от свиты. Теперь они стоят прямо под моим окном. И я слышу шепот Люсьена:

– Слова, красивые слова... Что с тобой? Я тебя не понимаю. Неужели ты так устал? Ты постарел? Или... ты что-то задумал?

Император не отвечает.

За решеткой все идут люди. И кричат до хрипоты: «К оружию! Да здравствует император!»

«Ты что-то задумала Эта фраза уже тогда озадачила меня. И потом я не раз вспоминал вопрос Люсьена.»

Вечером мы узнаем: Фуше уже ведет переговоры с союзниками. Они хотят одного: возвращения Бурбонов. Мечта о династии умирает на глазах. Но император остается в странном бездействии.

Приезжает маршал Даву, путано объясняет:

– Пока вы в Париже, Сир, Фуше опасается народного восстания...

⁶ День переворота, когда Бонапарт стал Первым консулом.

Император усмехается:

– И вы хотите, чтобы я...

Этим «вы» император соединяет маршала с изменниками.

Даву жалко бормочет:

– Новое правительство просит, Сир... покинуть дворец... и Париж.

Император молча выходит из комнаты.

Растерянный Даву уезжает.

Вечером появляется сам Фуше. Тощая фигура, тонкие бесцветные губы, угодливо склоненная голова. Но в рыбьих глазах – постоянная насмешка.

– Ваше Величество, я пришел как глава временного правительства.

Он не желает скрывать свое торжество.

Император улыбается:

– Я в первый раз вижу вас поглупевшим. Вам нельзя повелевать, Фуше. Цезарем рождаются, впрочем, как и слугой. Вы – великолепный слуга... Но в одном вы правы: ваше правительство – временное. Очень временное. Надеюсь, после его конца вы вновь приобретете те качества умного слуги, за которые я прощал вам столь многое.

– Я и пришел послужить вам, Сир. Вам следует покинуть дворец. И как можно скорее – Францию. Я не хотел бы, чтобы вас захватили союзники. Блюхер обещает повесить вас на первом суку... Сир.

И опять – торжество в глазах.

– Что ж, Блюхер прав в своей ненависти ко мне. Это от страха. Я столько раз бил его... И если бы вы не предали меня, ни один пруссак не ушел бы за Рейн.

И тогда Фуше сказал... клянусь, я слышал это, ясно слышал!

Но, по-моему... **вы сами захотели, чтобы вас предали?** Вы сами предоставили нам эту возможность. И вы не заставите меня поверить, Сир, во все глупости, которые вы наговорили Констану и вашему брату. – (Фуше, как всегда, отлично осведомлен обо всем.) – Вот только для чего вы это сделали, я не понял.

– Вам трудно поверить, что польза Франции, безопасность Парижа могут быть для кого-нибудь превыше всего?

– Для «кого-нибудь», но не для вас, Сир. Я никогда не поверю, что есть хоть что-то на свете, ради чего вы согласитесь перестать воевать.

Оба помолчали. Наконец Фуше спросил:

– Вы действительно думаете уехать в Америку?

– И я уверен, что вы уже предупредили об этом англичан, – усмехнулся император.

Фуше молчит. Наконец произносит:

– Я дам вам охранную грамоту от имени правительства.

– Временного, не забывайте постоянно добавлять это слово. От имени временного правительства императору Франции и королю Италии охранную грамоту даст вчерашний убийца короля. Смешно.

– А по-моему, логично. Убийце герцога Энгиенского даст охранную грамоту убийца Людовика Шестнадцатого, – отвечает Фуше. И добавляет: – Полжизни бы отдал, чтобы понять: что же вы задумали?

– Этого вам никогда не понять. Точнее – не дано понять. Мечты цезаря и мечты лакея такие разные...

Фуше молча откланивается.

Император объявил:

– Мы покинем дворец, коли они так настаивают. Утром мы отправимся в порт Экс. А оттуда...

Он замолчал.

– В Америку? – не выдержал я.

– В Америку... – как эхо повторил он. – Но по дороге заедем в Мальмезон.

Тут заговорил кто-то из придворных (кажется, граф Бертран):

– Но, Сир, осмелюсь сказать, нельзя терять времени. Союзники вот-вот войдут в Париж. Роялисты охотятся за вами...

Он не ответил. Пошел принимать свою любимую ванну.

Вскоре император позвал меня.

Он лежал в ванне и читал «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. Я вошел, держа в руках предусмотрительно взятую с собой тетрадь – решил записывать в нее важные события и мысли императора.

Он одобрительно посмотрел на мою тетрадь:

– Спрашивайте, Лас-Каз.

– Сир, почему вы не повесили Фуше и Талейрана?

– А зачем? Талейран слишком любил деньги и женщин. Покуда он знал, что при мне можно хорошо зарабатывать и хорошо е...ся, – (император любит солдатские выражения), – он служил мне верой и правдой. Умнейший человек! Сохрани я его, я и сегодня сидел бы на троне. За ним просто надо было следить – но неусыпно. Моя вина, что я не сумел этого сделать... Что же касается Фуше, здесь та же история: подлый лакей, оставленный повелителем без должного присмотра. Я всегда знал, что при первой неудаче они меня продадут. Но опрометчиво был уверен, что никогда не дам им такой возможности... Что ж, банальное: никогда не говори «никогда».

Я вопросительно посмотрел на свою тетрадь для записей.

– Записывайте, записывайте. Вы сейчас свидетель Истории.

Да, я свидетель. Я добросовестно записал события этих неповторимых дней: как император мог смести этих жалких говорунов, как он мог установить диктатуру, о которой умолял его весь Париж, и как он отказался это сделать. Но сейчас, глядя на него, преспокойно лежащего в ванне после того, как он отдал империю, я вслед за Фуше задавал себе вопрос: почему? Почему он, который пролил потоки крови, вдруг испугался крови? Или он... устал от крови?

Император засмеялся и тотчас ответил:

– Я сказал правду этому лакею Фуше – цезарем не становятся, им рождаются. И мысли цезаря не понять тем, кто не рожден цезарем. Не записывайте, ибо это тоже банально. Понять цезаря не дано было даже великому Тальма. Потому он так плохо сыграл шекспировского Цезаря. Я объяснял ему: «Когда Юлий Цезарь произносит тираду против монархии, он не верит ни единому своему слову. Так что эти слова нельзя произносить с пафосом, наоборот, – со скрытой насмешкой». Тальма не смог... Ах, мой друг, как я хохотал над слухами, будто я учился у Тальма искусству жеста! Нет, цезарь не учится у актеров. Цезарь уже рожден великим актером.

И вот тогда он сказал:

– Какую прекрасную книгу оставил Юлий Цезарь! Мы с вами позаботимся о том же.

И замолчал.

– Я не понял, Сир...

– Нет, поняли.

Читал мысли! Конечно, я понял (именно тогда понял): он уже думает об изгнании и решил взять меня с собой. Ему нравилось, что я записываю за ним. Тогда же он спросил меня: «Вы, кажется, отлично знаете английский?» И я решил, что он думает об Америке. Но уже скоро мне пришлось понять истинное значение этого вопроса.

В ту ночь я помогал императору. До трех утра мы сжигали его бумаги, наполнив пеплом весь камин. В четвертом часу император отправился спать, а я – домой.

Жена не спала. Я рассказал ей о предложении императора.

– Я должен оставить вас, надеюсь, ненадолго. И еще надеюсь: ты поймешь меня.

Она поняла меня... и заплакала.

Но когда я сказал, что хочу взять с собой сына («Быть рядом с величайшим человеком столетия – это большое счастье и самая лучшая школа»), началась бурная сцена с рыданиями и истерикой. Но я настоял.

Я так и не смог лечь спать. Выпил кофе и разбудил сына. Мне пришлось долго ему все объяснять. Договорились, что он приедет ко мне в Экс через пару дней. Я поцеловал жену, и мы простились. На сколько? Знает один Господь...

В семь утра я вернулся в Елисейский дворец.

Мы покидаем столицу. Император проехал по Елисейским Полям, остановил коляску у недостроенной Триумфальной арки и долго глядел на нее...

Больше он никогда не увидит Париж.

Свита прямой дорогой отправилась в Экс. Но сам император, граф Коленкур, граф Бертран, несколько офицеров и я должны были остановиться на пару дней в Мальмезоне.

Этот дом император купил Жозефине после свадьбы и оставил ей после развода. Она жила здесь с дочерью Гортензией и внуком. И здесь она умерла меньше года назад (император был тогда на острове Эльба).

Он хочет проститься с домом, который видел столько его побед и где он был так счастлив.

По дороге он сказал мне:

– Любовь толпы... После отречения... – Он засмеялся. —.. теперь следует говорить «после первого отречения»... мне пришлось покинуть Францию переодетым! И что же я услышал после стольких лет величия, которое я дал стране? «Смерть тирану!» – кричала толпа. И комиссары союзников, ехавшие со мной, попросили меня... переодеться. Мне пришлось снять мундир, в котором я завоевал славу Франции, и надеть штатский сюртук. На шляпу мне нацепили белую роялистскую кокарду. Но самое смешное – мне предложили назваться британским именем! Нет, я не уезжал – я бежал из страны, которую сделал повелительницей мира. Бежал под именем ее врагов!

«Говорят, Людоед уносит ноги. Надеюсь, его прикончат по пути», – я услышал это в первой же харчевне, где мы остановились. Перепуганные комиссары попросили поспешить с обедом, им показалось, что хозяйка меня узнала. В карете на всякий случай они предложили мне опять переодеться – на этот раз в австрийский мундир. Последнее, что я увидел на французской земле – свое чучело. Вымазанное дерьмом, оно качалось на виселице. И я мог сказать: «Ты был прав, презирая людей!»

«Но теперь-то ведь все было иначе! Они боготворили его, несмотря на гибель своих мужей, братьев и сыновей при Ватерлоо».

И опять этот страшный человек прочел мои мысли.

– И все равно! После стольких предательств мне трудно довериться толпе. Тогда, на Эльбе, я много думал об этом. И я их простил. В конце концов, я только солдат... И для меня ничего особенного не случилось – я всего лишь проиграл сражение и сдал город. Да, этот город был Париж, и я проиграл величайшую империю. Но я так привык к великим событиям, их было столько за мою не такую уж долгую жизнь! И у меня попросту не было времени осознавать их, когда они происходили. Нестерпимая боль приходила потом... Но обычные люди переживали тогда вселенскую катастрофу: в их город, в который полтора тысячелетия чужеземцы входили только для того, чтобы выразить свое восхищение... и вот...

И он повторил:

– Я виноват. Я приучил их только к победам.

Он замолчал. Потом сказал:

– На сей раз в Париж войдут англичане, пруссаки и сбежавшие Бурбоны – все вместе. Я думаю, они уже в Сен-Дени.

Мы приехали. Мальмезон утопает в летней зелени. Изумрудный газон перед весьма скромным дворцом с двумя башнями. Пики стриженных деревьев – будто часовые... Кстати, с нами нет охраны, и если враг нападет, защищаться придется самим.

В доме уже собрались: Люсьен и Жозеф (братья императора), красавица Полина (сестра), Гортензия (дочь Жозефины от первого брака, вышедшая, точнее, выданная замуж за Людовика, третьего брата императора), граф Монтолон, граф Коленкур и гофмейстер Бертран с женами. И Летиция – мать императора.

Он сразу прошел в комнату, где умерла Жозефина, и оставался там около часа. А потом долго бродил по дорожкам сада – один.

Позже он сказал мне:

– Я все время вижу, как она идет по дорожкам с рассадой в руке. Она обожала сажать цветы... и немного изводила меня этим занятием. Я все время посылал слуг искать ее в цветниках...

Вечером все собрались в музыкальной зале. Император и Гортензия сидели у арфы и говорили о Жозефине. До меня долетали их слова, которые я поспешил записать той же ночью.

– Я не хотела прежде рассказывать, Сир, мне казалось, это будет слишком грустно для вас... Во время вашего изгнания она просила дозволения приехать к вам на Эльбу, но... вместо разрешения к ней приехал русский царь. Весь парк был переполнен огромными казаками...

Император усмехнулся.

– Мне рассказали – она танцевала с Александром.

– Она хотела получить право просить за вас... но жить не хотела. И оттого, когда она простудилась... всего лишь простудилась во время ответного визита к царю... ее не смогли вылечить лучшие доктора. Она умерла уже на следующей неделе... Она сказала мне перед смертью: «Мне кажется, я давно уже умерла, как только осталась без него». Она умерла от грусти... все время думала о вашем изгнании, Сир. Она осталась обворожительной... даже в гробу...

Красавица Полина в бесценном колье сидит в стороне и мрачно молчит. Как и все Бонапарты, она не любила Жозефину и ее детей.

Но в глазах императора – слезы...

Уже ближе к ночи он принялся рассматривать вещи, которые привез с собой из Тюильри (и, видимо, решил взять в изгнание). Вещи самые странные – походная кровать, на которой он спал накануне Аустерлица, и военный трофей – часы, будившие Фридриха Великого.

Он сказал мне:

– Фридрих – мой кумир еще в военной школе. Когда я вошел в Берлин, его ничтожный потомок трусливо бежал. Он отправил мне послание, где жалостливо писал, что оставляет дворец в полном порядке и надеется, что я прекрасно проведу там время. Трус не посмел увезти даже вещи великого Фридриха... у могилы которого поклялся сокрушить меня... – Он расхохотался. – Не вышло!

Император, кажется, забыл, что нынче прусский король живет у себя во дворце, а мы должны бежать неизвестно куда...

В который раз он прочел мои мысли и сказал:

– Да, дело проиграно. Но не все потеряно, поверьте.

И продолжил рассказ:

– Но тогда... тогда я разгромил их. И первое, что я сделал, ступив во дворец, – бросился к шпаге Фридриха. Этот трофей был для меня дороже ста миллионов контрибуции, которые заплатила мне Пруссия. Я забрал шпагу и его часы...

– Но шпагу Фридриха вы не берете с собой, Сир?

– Зачем? У меня есть своя, – ответил он, улыбнувшись. – И поверьте, не менее ценная.

Он прав. Ни один великий полководец за всю историю человечества не выиграл столько сражений.

Он опять прочел мои мысли:

– Но было бы лучше погибнуть в одном из них. Если бы судьба послала мне тогда пулю, история поставила бы меня рядом с непобедимыми – с Александром Великим и Цезарем... Можно было бы умереть и под Дрезденом... Нет, Ватерлоо все-таки лучше. Любовь народа, всеобщий траур... И сражение, которое я не успел бы проиграть...

И задумчиво добавил:

– Но если судьба не дала мне этого, мы исправим ее ошибку...

И засмеялся.

«Мы исправим ее ошибку». Уже тогда он все придумал.

Из Мальмезона он вдруг отправил письмо Фуше. Император предлагал... стать генералом на службе временного правительства. И обещал победить. «Я клянусь, что пруссаки у Парижа наткнутся на мою шпагу».

Письмо отвезли в Париж.

Последняя ночь в Мальмезоне.

По просьбе императора, в тот вечер я беседовал с Коленкуром. «Набирайтесь сведений, впоследствии они вам понадобятся».

Коленкур рассказал мне удивительные вещи о русской кампании. И о своих беседах с императором, когда они бежали из русских снегов. После этого длиннейшего разговора я вышел в сад пройтись.

Тихая ночь. Запах цветов, дом темен, в Мальмезоне спят.

Одно освещенное окно на первом этаже, в библиотеке. Это великолепная небольшая зала, разделенная колоннами красного дерева. На колонны опираются своды расписного потолка. Головы античных философов смотрят вниз. Темнеет красное дерево – шкафы,

кресла, золотисто мерцает бронза: бронзовые грифоны – ножки стола, инкрустации на колоннах, прибор на зеленом сукне; отливают золотом корешки книг в шкафах.

Император сидит в кресле, повернутом спинкой к окну, – читает. Я подошел к окну вплотную. Он кладет книгу на стол, сидит неподвижно – о чем-то думает.

Теперь я вижу книгу, которую он читал. Это старинное Евангелие в кожаном переплете с бронзовыми застёжками.

Утром я застал императора в саду. Прогуливается, пока сервируют завтрак. Я поклонился. Он пригласил меня пойти рядом.

Запах кофе смешивается с утренним запахом цветов. Цветники Жозефины...

У маленького фонтана император заговорил, глядя на струи воды:

– После того, как Иисус сотворил великие чудеса – исцелил бесноватого и прочее, о чем просит Его народ?

Я не помнил. Он засмеялся:

– Удалиться! Они не выдержали Его чудес.

Он помолчал, потом добавил:

– Я слишком долго нес на своих плечах целый мир. Пора бы отдохнуть от этого утомительного занятия.

Семья собирается за столом. Жозеф и Люсьен выходят из дома. Братья о чем-то беседуют, но за стол не садятся, видимо, ожидают, пока император закончит прогулку.

Жозеф никогда не мог забыть, что он – старший брат. Бездарный, напыщенный светский бонвиван, которого император время от времени назначал королем в очередных завоеванных землях. Люсьен – единственный талант среди братьев императора. Бешено тщеславный, всю жизнь завидовал брату и никак не мог забыть свое (неоцененное) участие в перевороте 18 брюмера. Назло брату он отказывался от браков с европейскими принцессами, женился на дочери трактирщика, играл в любительском театре вместе с сестрой Элизой, подбивал ее выходить на сцену в обтягивающем трико... Все назло брату! В свои салоны братья охотно приглашали врагов императора, там царила мадам де Сталь с ее язвительными шутками.

Но нынче все распри забыты, и братья ждут от императора обычных (то есть великих) решений, которые спасут положение... семьи!

За столом рассаживаются три графа (Бертран, Монтолон, Коленкур) с женами... Наконец появляется император.

Пьем утренний кофе. Принесли депешу – ответ Фуше. Император с усмешкой проглядел, передал Люсьену. Тот читает вслух.

Фуше настойчиво (нагло!) просит (требует!) императора побыстрее оставить Париж, иначе «союзники не желают вести мирные переговоры... и грозят разрушить Париж. Столько веков, Сир, этого не было. И вот благодаря Вам мы увидим завоевателей второй раз за один год! Уезжайте, Ваше Величество. Преданный вам Фуше».

Люсьен закончил читать. Император помолчал, потом сказал:

– Мне все-таки следовало его повесить. Предоставлю это сделать Бурбонам...

Не понимаю, не понимаю! Если император захотел продолжить воевать, зачем надо было унижаться – просить разрешения Фуше? Достаточно было попросить уличу. И он получил бы назад свою армию. Тем более что Груши, опоздавший к битве при Ватерлоо, сумел привести к Парижу сорок тысяч солдат, жаждущих отомстить за поражение!.. Не понимаю!

Но теперь понимаю.

Император встал из-за стола и прошел в дом. В бильярдной долго один гонял шары.

Гортензия и Полина не вышли к завтраку. Я застал их в музыкальной зале, где стены до потолка увешаны картинами в золотых рамах.

Они сидели в креслах по обе стороны арфы и зашивали бриллианты в дорожную одежду императора. Точнее, зашивала Гортензия, Полина не умеет рукодельничать (но умеет, когда нужно, снять с себя эти бесценные камни). И теперь она наблюдала за работой Гортензии.

Здесь же Летиция, мать императора. Я поклонился, Летиция не ответила. Она смотрит перед собой невидящими глазами. Это не образ – она окончательно ослепла от переживаний. За все время, пока мы были в Мальмезоне, она не проронила ни звука. И теперь молча сидит на кушетке на фоне стеклянной двери в сад, между двумя мраморными бюстами римских императоров – как третье изваяние со столь же совершенным римским профилем. Но на недвижном ее лице тотчас начинается блуждать улыбка, когда входит он. Она узнает императора по шагам.

Обед. За столом, вновь накрытым в саду, молчание. Все ждут, когда заговорит император, он должен что-то придумать!

И он говорит – ко всеобщему разочарованию:

– Что ж, надо избавить Фуше и всех этих господ от моего присутствия. Мы сегодня же уедем в Рошфор... там мне действительно следует сесть на корабль и – в Америку!

Братья и сестры принимаются обсуждать его будущее изгнание. Но никто не предлагает разделить его с ним.

Император улыбается...

Приехали четверо офицеров из Парижа. Привезли слухи – роялисты всерьез готовятся напасть на Мальмезон и расправиться с императором. Умоляют поспешить.

Слуги грузят вещи в экипажи. Коленкур передает мне на всякий случай оружие. Император, усмехаясь, глядит, как Коленкур заряжает мой пистолет.

В комнату врывается Тальма в солдатском мундире – Сир! Я хочу видеть, как ведет себя цезарь в такие минуты.

Император треплет его по щеке:

– Очень естественно... и просто. Прощайте, мой друг, вы замечательный актер.

Император ушел. Тальма почти в ужасе обращается ко мне и Коленкуру:

– Он знал... все знал заранее. Он как-то сказал мне: **«Я сам, может быть, самое трагическое лицо нашего времени»**. Он говорил это, клянусь!

Его лицо стало белым от ужаса. Он легко возбуждался.

Коленкур не отвечает, ему не до того. Он выходит вслед за императором.

Тальма уязвлен невниманием. И я легко его «подобрал». Я сказал:

– Неужели мне выпало счастье беседовать с великим Тальма?

Глаза Тальма сверкнули, он – мой.

– Это правда, вы учили величию жестов самого императора?

Он вздохнул и кивком подтвердил: именно так и было дело. Но потом заговорил преувеличенно громко:

– Впрочем, император и сам великий актер. Когда Его Величество решил начать войну с Англией, он вызвал английского посла. В тот день в приемной императора ждали аудиен-

ции Талейран и ваш покорный слуга. До нас доносились крики какой-то невиданной ярости: «Где Мальта, которую вы обязались мне отдать?! Вы бессовестная страна олигархов! – Тальма удивительно точно изображает императора. – Я чувствую, вы задумали войну! Но клянусь честью, если вы первыми обнажите шпагу, я вложу свою в ножны последним. Хотите войны? Вы получите ее. Но это будет война на истребление. И вашей рыбьей нации не выдержать галльской страсти! Готовься к великой крови, Англия!»

Несчастный, насмерть перепуганный посол выбежал из кабинета, буквально потеряв дар речи. Бедняга так и не узнал... как хохотал император! Он вышел следом за послом и сказал мне: «Ну, каково, Тальма! По-моему, я совсем недурно сыграл обманутого мужа? Учтите, у настоящего политика гнев никогда не поднимается выше жопы». Это любимая присказка императора.

Мы покидаем Мальмезон. Император долго смотрит на дом. Потом садится в карету вместе с Гортензией. Я, Бертран, Монтолон, Коленкур – верхом окружаем карету императора. В другом экипаже едут их жены.

Граф Шарль Монтолон. Ему 32 года. Говорят, десятилетним мальчишкой он учился математике у капитана артиллерии Бонапарта. Был с ним во многих битвах. Потомок древнего рода, он был назначен посланником при дворе герцога Вюртембергского. Но посмел жениться против воли императора на разведенной красавице Альбине де Вассал. За что отправлен в отставку. Теперь Альбина едет за нами в карете.

Отрекшийся император и мы (сотня человек свиты с женами и слугами) живем в Рош-форе (на острове Экс в устье Жиронды). Мы занимаем мрачноватый дом командующего флотом.

Париж должен пасть со дня на день. И с часу на час мы ждем его решения отплыть в Америку. Точнее – попытаться отплыть.

Но решения все нет.

А пока из окна своей комнаты император наблюдает в маленькую подзорную трубу за английским фрегатом, стоящим на якоре в устье реки. Этот линейный корабль называется «Беллерофонт». Он перекрывает нам путь в океан – путь в Америку. Фуше постарался...

Вчера вечером на «Беллерофонте» прогремел салют из корабельных пушек. Утром к нам прискакал гонец из Парижа, и мы поняли причину салюта на английском корабле. Париж взят, Бурбоны вернулись во Францию. Медлить более нельзя – остров со дня на день будет захвачен.

Шхуна, на которой император должен бежать в Америку, – ждет...

Все эти дни наши офицеры запираются в большой гостиной, у дверей выставляется караул. Вырабатывают план бегства императора.

Сегодня я узнал этот план (точнее, один из планов). В нашем распоряжении есть два корабля, готовых принять участие в операции. Один из них отвлечет англичан – примет бой с «Беллерофонтом». Брат императора, Жозеф, очень на него похожий, будет в это время на палубе. И заставит англичан поверить, что император на судне. Пока они будут брать корабль на бордаж, второе судно – с императором и нами – ускользнет в открытый океан.

Утром этот план (признанный самым удачным) докладывают императору. Но император молчит. И продолжает в подзорную трубу изучать «Беллерофонт».

Теряем драгоценное время...

И вот сегодняшней ночью он собрал нас. Каково же было изумление (нет, потрясение, потрясение!), когда император объявил:

– Я более не глава армии и государства... всего лишь частное лицо. Я не имею права рисковать жизнями французских моряков. И решил искать прибежище... – Он помолчал и закончил: – На борту английского корабля... вот этого... «Беллерофонта».

Наступила тишина. Мы не верим своим ушам!

– Вы намерены сдать англичанам, Сир? – переспросил потрясенный Бертран.

Теперь я написал бы – «простодушный Бертран». Но тогда, повторяю, потрясение было на всех лицах.

– Зачем же – сдать? Просто я ухожу из политики... и вот решил искать прибежище у английского народа, под сенью его законов. Буду жить где-нибудь под Лондоном... под именем полковника Дюрока.

Было непонятно, он издевается над нами или впрямь стал безумным? Ну добро бы сдать русским – он был прежде дружен с их царем. Но англичанам?! После того как тысячи английских солдат всего пять недель назад погибли при Ватерлоо! После того как двадцать лет он беспощадно воевал с ними, душил кольцом блокады!

И представить себе, что после этого они поселят его у себя таким добродушным ленд-лордом?! Нет, англичане непременно посадят его в крепость.

Он посмотрел на меня, странно улыбнулся и сказал:

– Даже если вы правы...

Он, как обычно, прочел мысли.

Но и эту фразу я понял только теперь.

Сегодня 14 июля. В день взятия Бастилии я сажусь в шлюпку. Шлюпка подплывает к английскому кораблю. Я поднимаюсь на борт «Беллерофонта» и вручаю капитану послание императора, адресованное принцу-регенту.

Я знаю его наизусть: «Ваше Королевское Высочество! Я закончил политическую карьеру и надеюсь, как Фемистокл, найти пристанище в стране британского народа. Я отдаю себя под защиту Ваших законов и прошу английский народ – самого могущественного и великодушного из моих противников – оказать мне защиту и гостеприимство. Наполеон».

Капитан прочел. Изумление на его лице! Он не в состоянии поверить. Перечел послание — и широкая улыбка! Он не может сдержать торжества. Еще бы: в одно мгновение безвестный офицер становится мировой знаменитостью – ему сдается вчерашний повелитель мира.

Он окончательно помешался от счастья – жмет мне руку, рассыпается в комплиментах, восторгается решением императора. На прощание говорит:

– Императора Наполеона, конечно же, примут в Англии с должным уважением. Наши люди и великодушны, и демократичны.

Нет, нет, капитан тогда не лукавил, в тот миг он верил...

Я передал императору ответ капитана.

– Ну вот видите, как все удачно сложилось, – говорит он с нехорошей усмешкой. И смотрит мне в глаза. Этот взгляд... тот самый, от которого дрожали его маршалы... бездна...

Он обращается ко всем:

– Что ж, пора собираться.

Я потрясен. Не министр, даже не адмирал, а какой-то капитан одного из бесчисленных английских кораблей что-то обещал – и этого достаточно ему – величайшему из императоров?! Я был уверен, что после обещания капитана все только начнется: переговоры с правительством, обмен посланиями...

Он привычно читает мои мысли:

– У нас нет времени, иначе нас попросту возьмут в плен. И, кроме того... – Он не заканчивает фразы и странно усмехается. – Короче, поторопитесь, господа.

Вот так, не получив никаких заверений от официальных лиц, он отдает себя в руки англичан.

Император в зеленом мундире с бархатным воротом, со звездой Почетного легиона и в треуголке садится в лодку. Отплываем.

Он поднимается на палубу корабля. Снимает свою знаменитую треуголку – приветствует капитана. (Хотя не снимал ее перед королями)...

Надо сказать, капитан принимает нас очень радушно. Сто человек императорской свиты – их жены, слуги размещаются на корабле.

Раннее утро. Корабль берет курс на Англию.

До самого полудня император сидит недвижно на палубе, глядит, как исчезают берега Франции. Я стою рядом. И слышу:

– Более не увижу...

Я так и не понял – говорил ли он сам с собой или сказал это мне.

В пути император занимается делом, в котором ему нет равных, – очаровывает. Уже вскоре и капитан, и матросы пребывают от него в совершеннейшем восторге. Еще бы, сам Наполеон с таким энтузиазмом интересуется их экипировкой, пищей...

Вчера император участвовал в утреннем построении команды и сказал много комплиментов и морякам, и английскому флоту. Посетовал, что у него не было таких моряков, иначе он завоевал бы весь мир.

Все как-то сразу забыли, что император – пленник... Пленник? Нет, он бог войны, который ведет себя как добрый гость. Его любимая манера – трепать по щеке и щипать за ухо своих солдат. И уже вскоре английские моряки с восторгом терпят эти странные покровительственные ласки.

Да, он – вечный любимец солдат всего мира. Не прошло и недели плавания, а он уже может повелевать вчерашними врагами. Его обожают.

Первая остановка – Торбей. Набережная запружена людьми. Матросы рассказывают – пешком, верхом, в каретах народ прибывает из Лондона, чтобы увидеть его. Подзорные трубы продаются за сумасшедшие деньги. Вокруг корабля кружатся сотни лодок, взятых напрокат. Нанять шлюпку стоит небольшого состояния. Все взоры прикованы к нашему кораблю: ждут появления императора.

Я пообедал, вышел на палубу. Император продолжает обедать – точнее, сидит за столом с отсутствующим видом – о чем-то думает.

На палубе я увидел матроса, державшего большую доску с надписью мелом: «Он обедает».

Наконец император появляется на палубе... Безумные крики с набережной: «Смотрите, смотрите!...»

Он уходит в свою каюту. И тотчас на палубу вышел другой матрос, написал на доске большими буквами: «Он отдыхает».

Толпа благодарно аплодирует.

Мы пришли в Портсмут. То же столпотворение.

Принесли газету, из которой я узнал: в Лондоне идут лихорадочные совещания министров с принцем-регентом.

Император балует англичан: выходит на палубу в знаменитом сером походном сюртуке и треуголке. На лодках, кораблях, на набережной тысячи людей обнажают головы...

Он доволен. Смотрит на меня.

– Я опишу это, Сир.

Он улыбается.

Свершилось! Сегодня, 31 июля, на борт «Беллерофонта» поднялся адмирал Кейт. Почтительно приветствует императора, зачитывает решение правительства.

Император не понимает по-английски, ему переводят: «Генерал Бонапарт (так теперь велено его называть) объявляется пленником союзников. Его отправляют в ссылку. Ему дозволяется взять с собой трех офицеров и двенадцать слуг. Место ссылки – остров Святой Елены...»

Император взрывается в яростном монологе. Он буквально орет:

– Вы попрали все законы гостеприимства! Я был величайшим вашим врагом и оказал вам величайшую честь, добровольно выбрав вашу защиту. То, что вы совершили, ляжет вечным позором на всю британскую нацию... Это равносильно смертному приговору!

Адмирал слушает с несчастным лицом.

После страстного монолога император... преспокойно выходит на палубу. На свою обычную вечернюю прогулку на потребу любопытным.

Я потрясен: он выглядит, повторюсь, совершенно спокойным. И это спокойствие пугает.

Погоуляв с полчаса, он возвращается в каюту.

Маршан прибегает ко мне в панике:

– Он заперся в каюте. Как тогда – в Фонтенбло...

И Маршан раскрывает мне тайну – год назад, после первого отречения, император пытался покончить с собой... Бедняга Маршан боится повторения попытки самоубийства.

Он умоляет меня постучать в каюту императора – как бы по делу.

Я подхожу к каюте, и из-за двери тотчас раздается голос императора:

– Позовите Маршана.

Он и за дверью читает мысли?!

Потом Маршан рассказал мне: когда он вошел, император сидел на кровати.

– Помогите мне раздеться, мне нужно отдохнуть.

Потом лег, сам задвинул полог. Свет проникал через плотные пурпурные шторы на окнах, и каюта была цвета крови.

Маршан в ужасе стоял у полога кровати, ожидая неизбежного. И услышал ровный голос императора:

– Продолжай читать.

Это были «Жизнеописания» Плутарха, он читал их императору накануне. Маршан стал читать – в совершеннейшем ужасе... Он не знал, что происходило там, за занавесями.

Но когда он дошел до самоубийства Катона, император преспокойно раздвинул занавеси и попросил халат. Маршан подал – дрожащими руками. После чего император стал молча расхаживать по каюте. Походив, остановился и начал обсуждать с Маршаном, кого ему взять с собой на остров.

– Он был совершенно спокоен, будто все идет как надо, – сказал мне Маршан.

«Будто все идет как надо». Теперь понимаю – лучшие фразы не придумать.

Ему пришлось выбирать из тех, кто поднялся с ним на борт. И он выбрал.

Маршан за ужином назвал их мне. Граф Шарль Монтолон с женой Альбиной, граф Бертран с женой Фанни... Причем Фанни (кстати, англичанка) была в ужасе от этого известия, говорят, чуть не бросилась за борт. Но сам Бертран был счастлив.

И еще император назвал меня.

– Он просил узнать, как вы к этому отнесетесь, – закончил Маршан.

Я вошел к императору в каюту и сразу начал:

– Сир! Если вы окажете мне честь и возьмете меня, вы исполните самое заветное мое желание.

Он улыбнулся и сказал:

– Граф, вы не только хорошо пишете, вы бегло говорите по-английски. Я решил взять вас с собой к англичанам, в изгнание, еще тогда, в Париже, как вы, наверное, поняли.

«К англичанам, в изгнание»? Так что же выходит? Уже в Париже он знал, что сдастся Англии? И что его сошлют? Но тогда зачем он сдался?

Так я спрашивал себя тогда, глупец.

За ужином император объявил свите свое решение – назвал тех, кого решил взять с собой. И тогда вечно скандальный (и вечно обиженный) генерал Гурго устроил императору бурную сцену. Гурго вспоминал (весьма страстно), как спас его в России, как храбро бился при Ватерлоо. Он не просил – требовал, чтобы император взял его на остров.

Императору не могла не понравиться такая жажда служить. Я был перемещен на должность секретаря, а Гурго добавлен к двум офицерам.

Я единственный из свиты старше императора и ниже его ростом. К тому же я худ, как император в дни Тулона. Все это ему приятно...

Вечером он приглашает меня в каюту. На столе лежат перо и бумага.

– Не будем откладывать.

Он усаживает меня за стол и начинает диктовать. Диктует стремительно, приходит в ярость, когда я его останавливаю. Я понимаю, что мне придется придумать собственную систему стенографии...

Генерал Бонапарт

Император начал с детства:

– Я родился пятнадцатого августа одна тысяча семьсот шестьдесят девятого года.

Я вдруг сообразил, что сорок шестой день его рождения мы будем праздновать в океане – по пути в изгнание.

– Здесь не забудьте упомянуть о том, – продолжал он, – о чем я вам уже рассказывал, – о комете. Накануне моего рождения в небе появилась комета. И встала над островом... Корсика, хаос творения... Горы! – Он смотрел в окно. – Как одинаковы волны... усыпляющий простор океана, а горы будят воображение. И небо. Воистину лазоревым оно бывает только на Корсике... Мирные селения, прилепившиеся к горам, черные покрывала женщин, спешащих в церковь... Пейзаж родины...

В моем роду – мятежные флорентийские патриции и сарацинские рыцари. Воинственная кровь опасно смешалась... Отец высокий, статный. Пожалуй, Люсьен больше всех нас похож на отца... Маленькая Петиция, моя мать, – истинная корсиканская красавица. Мраморное лицо, которое не берет загар. Бледность статуи... Я мамин сын.

«Действительно, маленький, с точеными чертами лица и с такой же отчаянной бледностью», – подумал я.

Он улыбнулся моим мыслям и даже продолжил их:

– И такими же, как у нее, маленькими руками... Она единственная в мире женщина, которую я боготворил. Когда однажды она опасно заболела, я умолял ее не умирать: «Вы уйдете, и мне некого будет уважать в этом мире». После каждого моего триумфа она пугалась.

Она говорила: «Мой мальчик, так вечно продолжаться не может...» И все повторяла старинную корсиканскую притчу: «Один великий богач нашел на дороге золотые часы... и очень расстроился. Потом он потерял все, остались только эти часы. Однажды он потерял и их... и очень обрадовался. На изумленный вопрос ответил: «У меня было так много всего, что когда я нашел еще и эти часы, то понял: так больше продолжаться не может. И сейчас я радуюсь по той же причине: так больше продолжаться не может»... Да, я обладал всем, что может дать судьба. Пожалуй, для окончательного величия мне не хватало только несчастья...

И как-то торопливо он вернулся к прежней теме:

– Мать религиозна и тиха, и при этом отважна, как истинный воин. Только такая женщина могла родить настоящего солдата. Запишите: «Уже в чреве матери император слушал грохот пушек». Это была война жалкого глиняного горшка с чугунным котлом – корсиканцы сражались против королевской Франции... Мы были разгромлены. Остатки повстанцев вместе с вождем генералом Паоли бежали в горы. И все это время рядом с мятежным генералом был его адъютант – мой отец Карло Буонапарте. И его беременная жена Петиция... Надо описать отчаяние отступления – жара, ржанье коней и бешеная скачка. И в седле мать слушала меня, мои толчки... жизнь, которую носила... Так что огонь битвы в моей крови. Мы уходили через горные перевалы, где так близко небо. И когда в тысяча восьмисотом я задумал провести через Альпы целую армию, я имел право сказать себе: ты уже одолел горы в чреве матери».

Он задумался и потом произнес:

– Писатели лгут в начале и в конце. Все, что я рассказал, опустите. Начните торжественно, но кратко: «Его будущее Судьба определила до его рождения. Разгромив восставших, Франция завоевала Корсику, и император Наполеон родился французом». Военная увертюра отыграна, мой друг. Занавес поднялся...

Она родила меня, когда шла к обедне. Был праздник Успения Богородицы, и по дороге у нее начались схватки. Она вернулась домой и не успела дойти до спальни. Я родился в гостиной – на старинных коврах с изображениями героев Илиады...

Он говорил, а я видел (клянусь, видел!): в деревянной колыбели, накрытой белым кружевом, кричал мальчик...

Император улыбнулся:

– Как бывает у малорослых, потому бешено тщеславных, детей, я обожал подчинять. Не имел, да и не хотел иметь друзей, но хотел иметь подчиненных. Я, низкорослый мальчик, заставлял служить себе не только высоких сверстников, но и старших учеников и даже старшего брата.

Наш маленький белый дом в Аяччо... Если там будете, навестите его. Он не последний на острове – целых три этажа. Каким огромным он мне казался и как оказался мал... Дерево у моего окна... я открыл окно, ветка качается, и я вижу, как на ветке сидит черная бабочка... она тоже кажется мне огромной. Я лезу за ней, и мать ловит меня, когда я уже приготовился выпасть из окна... Все меня привлекает... особенно лепешки, которые в поле оставляют коровы. Я спешу их собрать, и мать шлепками отгоняет меня от коровьего навоза... Отец не справлялся со мной, я был зверски упрям. Когда мне мыли голову... как я ненавидел мыло, оно щипало глаза и я пытался съесть его... чтобы его не было! И за буйство в ванной она выгнала меня с мокрой головой... И я в слезах, отторгнутый ею, лежу в постели, а отец на цыпочках входит ко мне и с нежностью трет мою голову, сушит волосы... Но она – воплощенная месть – на пороге, и отец покорно исчезает перед разгневанной Немезидой... Он рано умрет, но, к великому моему счастью, останется она. Как она меня знала... будто между нами был заговор...

Но у маленькой красавицы были крепкие кулаки... Она понимала – только кулаками можно шлифовать мой характер. Мою вздорность она превращала в упорство. Я не хочу идти в церковь – пощечина. Я увязался за ней в гости – она велела остаться. Но я иду, молча, упрямо иду за ней. И полуоборот матери, и внезапная боль – пощечина. Удар беспощаден! От бешенства я бросаюсь на землю – я хочу разбиться, чтобы напугать ее. Истошно кричу, но она даже не оборачивается. Гордая, прямая спина удалявшейся матери... И до смерти буду помнить тот день: жару, пыль, твердость земли – твердость матери. Уважение к силе, к ее непреклонности вошло в мое сознание вместе с пощечинами...

Жизнь играла мной. В семьдесят девятом я поступаю в военную школу в Бриенне. Здесь учились дворянские дети. На стене – портрет графа де Сен-Жермена, основателя школы. Старик в мантии, со множеством орденов, в высоком парике... или он казался мне стариком? Мне шел шестнадцатый год, когда я покинул эту школу, а росту во мне было жалких четыре фута десять дюймов. Мать увидела меня... и не узнала в толпе здоровенных сверстников. Я бросился к ней с объятиями, а она недоверчиво смотрела на меня, у нее, как она потом рассказывала, даже возникла вздорная мысль: не подменили ли сына? Маленькое, худенькое, болезненное существо... это не мог быть ее Наполеон!

На самом деле я был мал, но крепок, как сталь. И уже не раз научил своих сверстников уважать и опасаться моего маленького тела. Я вступал во все драки. Главное – ввязаться в драку, и тогда тебе спуска нет! Так я учил свое тело бесстрашию. Я выбирал самых сильных – они сбивали меня с ног, но я вставал и шел на них. Я научил их страшиться не только моих

кулаков, но и моей непреклонности. Так требовала моя честь. Так учила мать. Уверен, все доброе и злое в человеке – от матери. Запишите: «Она всегда учила меня гордости, чести и славе»...

В Бриенне я взял свою первую крепость! Помню, выпал снег и я убедил товарищей построить из снега брустверы, валы, парапеты. Получилась маленькая крепость. Мы разделились – одни защищали ее, а я с другими должен был ее взять. Я придумал диспозицию и возглавил атаку. Защищавшие лихо отбивались замерзшими снежками. Это было очень больно – снежки в лицо, но я бежал впереди и добежал – мы ее взяли!

И вот результат: «крепкое сложение, отличное здоровье, честен и благороден, отличался прилежанием к математике... будет превосходным моряком». Это моя характеристика в школе, и я ее заработал.

Я хотел быть моряком, но у меня не было протекции... Они меня не приняли. Я плакал. И тогда я услышал голос: «Ты еще увидишь море».

Так первый раз заговорил во мне этот голос. Да, мой флот проиграет все морские сражения. Но море будет ко мне очень милостиво. Когда я вез армию в Египет... и когда оттуда возвращался...

Он остановился.

– Нет, я хочу, чтобы все было по порядку. Мы еще подойдем к этому...

Император смотрел в окно каюты – гладь бухты, море. И повторил:

– «Ты еще увидишь море»... Меня отвезли в Париж, в военную школу на Марсовом поле... Содержали нас там великолепно. И хотя в большинстве мы были мальчиками из небогатых семей, в школе при нас была многочисленная прислуга, мы щеголяли верхом на великолепных казенных лошадях... Все это развращало. Помнится, я даже написал записку, где предлагал заменить эту ненужную роскошь умеренной жизнью. Вместо дорогих удобств я предложил побольше знакомить нас с тяготами военной жизни, с невзгодами, которые нам предстоят. Но начальники не захотели принять аксиому: трудности в учении помогают в будущих боях... В училище я пережил и первое видение военной славы – я увидел великого полководца принца Конде!..

Я не мог не подумать: «Его потомка, герцога Энгиенского, он расстреляет».

Император засмеялся (читал, читал мысли!)

– Я совершил много ошибок – не расстрелял мерзавца Фуше, затем Ватерлоо... история с Папой и так далее... много. Но не эту. Я и сегодня знаю – я имел право его расстрелять.

Я уверен – у него в этот миг было ощущение мужа, чья жена, по имени Франция, прелюбодействует с Бурбонами... И отсюда эта ненависть к несчастному, несправедливо погубленному им отпрыску Бурбонов.

Непрерывная диктовка... Я устал смертельно, но он не замечает, расхаживает по каюте и диктует:

– В Парижском военном училище при выпуске мне дали характеристику: «Высокомерен, любит одиночество, чрезвычайно самолюбив. Его честолюбие не знает границ». Отличная характеристика для того, кто решил поиграть с земным шаром!

Моя юность – мое одиночество. Мои товарищи постоянно болтают о любовных приключениях. У меня никого. Мое тогдашнее страдание... впрочем, обычное юношеское страдание. Я обожал гётевского «Вертера» – мой любимый тогда роман. Мысли о самоубийстве... Но у меня не было несчастной его любви, а я хотел иметь право глубоко страдать. И я нашел предмет постоянного страдания: поруганная судьба моего маленького острова. И я писал

в дневнике: «О моя угнетенная родина! Если нет больше отечества – патриот должен умереть... Я всегда в одиночестве, даже когда кругом люди. О чем я тоскую нынче? О смерти. А ведь как-никак я стою лишь на пороге жизни. Мои земляки, закованные в цепи, целуют французскую руку, которая их сечет. Если бы нужно было умереть кому-то одному, чтобы вернуть свободу моему острову, я не раздумывал бы ни секунды...»

Хотя теперь я думаю, что истинная причина моего страдания была совсем иной. Во мне появилась уверенность... в моей избранности! Не могу точно сказать, когда появилась эта мысль – вполне возможно, она была всегда. Просто с возрастом ее голос становился сильнее и сильнее. Я читал и перечитывал Плутарха, биографии Цезаря, Александра Македонского, – истории жизни великих властелинов, земных богов – как руководство для своей будущей жизни. Я ревниво отмечал, во сколько лет они достигли первых великих успехов. Хотя, будучи достаточно трезвым, я понимал: невзрачный, нищий, неродовитый... в стране спеси, где главное – родиться знатным... Да, у меня не было ни одной лазейки в великое будущее... Скорее всего, здесь и была истинная причина моего постоянного страдания. А единственное прибежище от этого страдания – чтение о великих...

Ганнибал... Слоны взбираются на Альпы – блестящий маневр, и войско Ганнибала уже топчет римскую равнину. Потом мне придет в голову повторить все это в Итальянскую кампанию. Да – повторить, ибо в мечтах, в воображении я уже взбирался вместе с ним на неприступные Альпы.

И, конечно, встреча с Александром Македонским. Я прочел о нем все, сделал множество выписок по маршруту его завоеваний. Я в совершенстве изучил географию Египта, Персии, Индии. У меня появилась безумная идея... Да, да – вы поняли. Тогда все бредили переселением душ... и мне все больше казалось, что когда-то я был – им. И я поклялся повторить его великие планы в нашем жалком веке... или умереть. И я сумел! Через тысячелетия я повторил грандиозные завоевания древности в нынешнем пугливом мире, который так страшится всего грандиозного и так обожает жалкую меру... И мир не выдержал величия древних планов...

Он стоял и смотрел, как на рейде становился на якорь большой корабль. Потом сказал: – Да, тогда, в юности, я усвоил – не должно быть предела дерзанию. Всемирность – с этого ощущения начинается гений...

В это время мой отец умер. Надо иметь того, для кого вы пытаетесь добиться успеха, кто должен вам аплодировать... Теперь мать должна была восхищаться моими успехами. Но еще долго я продолжал разговаривать с умершим отцом... И в день коронации, сидя на троне, я сказал брату: «Если бы это видел наш отец!» И теперь я все чаще замечаю в себе его привычки, говорю с его интонацией...

Я был выпущен из училища в чине подпоручика в артиллерийский полк. Полк сначала стоял в Гренобле, потом нас перевели в Баланс. Обычный провинциальный городок – мир сонной скуки. Офицеры – богатые дворянчики, и я – полунищий, живущий на жалкое жалование. Однообразные забавы молодых офицеров – соблазнять местных дам и после пересказывать друг другу свои любовные подвиги. Я старался не слушать их. Ведь если им верить, все женщины низки и похотливы, как кошки. И я утешал себя строкой из Овидия: «Всякий готов обсудить здесь любую красотку, чтобы сказать под конец – я ведь и с ней ночевал».

Я был тогда влюблен. Первая любовь для возвышенной души – пострашнее недуга. Ее звали Софи, дочь госпожи Коломбье... Да, помню ее фамилию. У этой дамы собирался местный салон, она была законодательницей мод валанского общества. И надо сказать, она меня поняла и, думаю, даже оценила. Юный, нелюдимый, нищий подпоручик был принят в ее салоне. И, конечно же, я тотчас влюбился в ее дочь. Какое это было блаженство – сидеть подле Софи... и есть вишни. Да, мой друг, все мое блаженство свелось к тому, что мы вместе ели вишни. Потом, через много лет мы встретились... она была замужем, бедствовала. Я

назначил ее статс-дамой ко двору одной из своих сестер. Разве я мог забыть первую любовь – невинную любовь жалкого подпоручика?

Следующая любовь... была тоже невинной. Родная сестра жены моего брата Жозефа... Как она была хороша! Помню, она искренне удивлялась, как я отважился в нее влюбиться! Даже спросила меня: «Ну что ты можешь мне предложить?» И я спокойно ответил: «Корону». Она расхохоталась. А ведь я не солгал. Это я помог ее мужу стать королем, хотя он был мне всегда противен. Теперь она шведская королева, а ее муж, которого я осыпал почестями, как вам известно, изменил мне первым. Король Бернадот... – Он расхохотался. – Этот бывший якобинец... На правом плече у него любимая татуировка якобинцев: «Смерть королям». Поэтому, говорят, даже камердинер не имеет права видеть его обнаженным...

После всех неосуществленных любовных мечтаний я записал в дневнике: «Считаю любовь вредной для общества. О, если бы боги избавили мир от любви». Я сделал тогда выбор: я буду любить одну даму – Славу. И у нее не будет соперниц. Я решил стать политическим писателем. И как великий гасконец⁷ – завоевать умы Европы. Так началось мое первое нападение на континент. В своем тайном сочинении я впервые свергал королей. Я заклеил Людовика, «который безжалостно тиранит мою несчастную Корсику». А заодно обличил и остальных монархов, «угнетающих нынче двенадцать стран Европы. И среди всех этих жалких королей только единицы не заслуживают того, чтобы их свергли».

Император помолчал.

– Пожалуй, все эти глупости про юношескую любовь мы вычеркнем.. Итак, по ночам я расправлялся с королями, а утром пропадал на полигоне – учился ремеслу артиллериста на службе у французского короля. Это уже было серьезно: по шестнадцать часов в день я занимался своей профессией. Я понял: судьба преподнесла мне великий подарок. Ибо не штык и пуля, в которые свято верили тогда все королевские армии Европы, но огонь пушек будет решать судьбу будущих сражений. И я разыгрывал... и выигрывал великие битвы в своей камере, собирая в кулак уничтожающий, яростный огонь батарей. А в свободное время... то бишь перед рассветом, – книги, книги, книги!

Я и носу не показывал в кафе, где молодые офицеры по-прежнему обсуждали прелести покоренных дам... пока я покорял Европу! И хотя они совершали свои «подвиги» в реальности, а я в воображении, но в девятнадцать лет воображение реальнее реальности! И даже когда меня отправляли на гауптвахту, я добросовестно штудировал там знаменитый римский кодекс Юстиниана – как материал для будущих законов моей завоеванной империи! Будущей великой Империи! И каждый раз, засыпая на свои три часа (мне и тогда этого было достаточно), я молил о ней Высший Разум, так именовали Господа мы, просвещенные люди конца века.

И наступил он – «великий восемьдесят девятый»! Революция принялась за работу. Я присутствовал при роковых минутах королевской власти. С террасы Тюильри я следил за Историей... пока в качестве наблюдателя. Я видел, как тысячная толпа с топорами, пиками, саблями и ружьями штурмовала дворец королей. В окне показался несчастный Людовик. Ворвавшаяся чернь напаялила ему на голову красный фригийский колпак. И я сказал: Жалкий олух! У тебя были пушки! Надо было картечью рассеять пять сотен этих каналий, остальные разбежались бы сами...»

В тот день чернь познала ничтожество властелина. И я не сомневался: теперь они обязательно придут сюда вновь! И в знаменитый день десятого августа все с той же террасы я увидел конец ничтожной, слякотной власти... Дворец Тюильри вновь осажден наглым, подлым сбродом. Жалкое сопротивление швейцарцев... Вместо решительного пушечного залпа

⁷ Монтескье.

в толпу – беспорядочные одиночные выстрелы. И уже победившая чернь, сметая гвардейцев, ворвалась во дворец...

Потом, когда дворец был взят, я пошел посмотреть. Дальше двора меня, разумеется, не пустили. От тесноты ли места, или оттого, что я видел это в первый раз, но я был поражен таким количеством трупов: двор был устлан телами швейцарских гвардейцев... И все это время я слышал отчетливый голос пришло, пришло твое время!..

Но начал я с ошибки – вернулся на Корсику и явился к генералу Паоли. Тот долго причитал «как летит время», спросил о матушке, в которую был, конечно, как и все, влюблен. Я прервал эти старческие вздохи: «Генерал, я появился на свет, когда моя родина гибла. Вы должны поддержать человека, рождению которого были свидетелем... Моя жизнь принадлежит борьбе за свободу моей Родины. Я хочу сражаться вместе с вами!»

И он ответил мне, вздохнув: «Ты отстал от времени, Наполеоне, – разговариваешь смешным языком Плутарха. Ты до сих пор не покинул свою юность. К сожалению, мне нужны не говоруны-мечтатели, а молчаливые силачи-бойцы. Ты слишком мал ростом для испытаний, которые нам предстоят».

Не думаю, чтобы моя патетика показалось ему столь смешной. Причина его слов была, конечно, иная – генерал Паоли был прирожденный вождь и его чуткое ухо слышало конкурента! И он испугался... Ну а потом и я разочаровался в корсиканской независимости. Ступени, ведущие к славе... я не нашел их на своем острове. Для всемирной славы он был слишком мал. И вскоре я снова был в Париже...

Пожалуй, на сегодня хватит. Перепишите и принесите мне утром. Лучше пораньше. Думаю, днем они переведут нас на другой корабль.

Вернувшись к себе в каюту, я до рассвета диктовал бедному сыну все, что записал и запомнил. А потом долго думал: как хитро император пропустил самое интересное!

О тех днях мне много рассказывал мой друг корсиканец Фернан, сражавшийся с генералом Паоли и эмигрировавший потом в Англию. Сначала будущий повелитель Франции принял участие в мятеже против Франции – командовал отрядом корсиканских сепаратистов, а потом... потом подавлял этот мятеж! Ибо сделал окончательный выбор – предпочел великую Францию маленькому родному острову. И вскоре уже штурмовал крепость, где засел генерал Паоли, но тщетно. С этого безуспешного штурма и началась военная карьера того, кто впоследствии завоюет целый мир...

А тогда он вместе с матерью и братьями был объявлен вне закона вчерашними сподвижниками. И, видимо, теми же горными тропами, какими когда-то спасалась от французских солдат, Петиция уводила с острова свою семью от разгневанных корсиканских патриотов, от вчерашнего кумира – генерала Паоли. На крохотном суденышке в шторм они отплыли к берегам Франции...

Все это, естественно, я тогда тоже записал. Ибо в ту ночь решил делать записи не только для него, но и для себя. Точнее – для Истории. Императору, разумеется, я показывал лишь его диктовку.

Утром я принес ему переписанное. Он даже не стал читать – тут же разорвал.

– Я подумал, что... все не нужно! И детство, и отрочество у всех одинаковы. Все молодые Вертеры похожи друг на друга. А так как «Вертер» уже написан... и я ничего не могу прибавить к великой книге... – Он усмехнулся. – Короче, этот период мы пропустим. Напишем лишь несколько предложений... Уже тогда я презирал все, что не есть Слава. И уже тогда знал все, что со мной случится!

И оттого я окончательно понял – моя душа более не принадлежит маленькому острову, ей нужна Вселенная!.. Это был все тот же голос судьбы. Услышать его дано только избранным... Именно поэтому я, вчерашний мятежник, объявил комиссару Конвента: «Что бы ни случилось, Корсика должна быть соединена с Францией». Так состоялось мое второе рождение. Корсиканский акцент и окончание «е» в имени можно... нет, нужно было отбросить. Ибо не было больше Наполеоне Буонапарте. Был Наполеон Бонапарт, приехавший в Париж. Чтобы, как все честолюбцы, завоевать великий город? О нет! Прекрасную Францию? Тоже нет! Весь мир!..

Он стремительно заходил по каюте:

– Я набросал план нашей работы. Записывайте! Надо начинать не с рождения Бонапарта, а с рождения Наполеона. А его истинное рождение – это осада Тулона. Потом пойдет подавление восстания роялистов, консулат, империя... Далее – политика в отношении Англии, блокада гнусного острова... Затем – российская кампания, победа «генерала Мороза» над Великой армией... Эльба, Сто дней и Ватерлоо. Вот и вся жизнь... Между прочим, я сделал огромную ошибку, заночевав во Флерюссе и отсрочив начало битвы. При Ватерлоо сражение надо было начать на сутки раньше, тогда Веллингтон и Блюхер не успели бы соединиться... После Ватерлоо – вся история подлой ссылки на остров... Кстати, вы автор «Атласа»... что-нибудь знаете о Святой Елене?

– Конечно, Сир. Во-первых, когда-то вы хотели его захватить...

Я забыл о его удивительной памяти. Он тут же подхватил:

– Мы должны были высадить там десант – полторы тысячи человек с четырьмя орудиями. Но не вышло – после победы англичан при Трафальгаре каждое судно было на вес золота. Так Господь оставил остров у англичан – поберег, очевидно, для меня... Дальше...

– Я посмотрел в моем «Атласе»: остров небольшой, тринадцать километров в длину и около двадцати в ширину. Принадлежит Ост-Индской компании, население: чиновники и купцы. Остальные три четверти населения – негры-рабы. Четыре тысячи миль от Европы и вдвое меньше... от Америки. Ближайшая суша – остров Вознесения – тоже принадлежит англичанам.

– Итак – вода, вода, вода... Нас будет сторожить океан. Негодяи выбрали правильно.

– Но Америка, Сир...

– Не надейтесь, Лас-Каз, у нас другие планы... Климат?

– Тропики, экваториальная жара и постоянные ливни.

– Это значит – дизентерия, лихорадка, рвота, сердцебиения. – Мне показалось, что он улыбнулся. – Таковы будут условия для коронованного Папой монарха... И условия эти непременно украсят вашу будущую книгу...

И он продолжил диктовать план:

– Далее в дополнение к биографии мы с вами запишем ряд размышлений. Некий краткий очерк войн прошлого, походы великих – Тюренна, Фридриха и Цезаря. И еще – об укреплениях, об организации армии... для будущих военных учебников. Таков наш минимум.

– Я безмерно счастлив оказанной мне милостью, Сир. Мы напишем об Истории, которую творили вы.

– Но вы должны понимать: при таком климате неизвестно, сколько мне будет отпущено времени. Следует торопиться... Вам выпала удача – записать все, что я хочу рассказать о себе миру. И мне выпала удача – получить время для этого. Обычно люди, подобные мне, обремененные государственными заботами, не успевают этого сделать. Если бы я скончался на троне, я остался бы загадкой для всех. Сейчас, в моем несчастье, я наконец-то смогу поведать людям о себе. И надеюсь, что эта будущая книга в чем-то изменит мир...

В дверь каюты постучали.

– Как я и предполагал – пора. Ступайте собирать вещи, нас переводят на другой корабль. Видимо, вон тот... «Нортумберленд». – Он, усмехаясь, указал в иллюминатор, где был виден стоящий на рейде большой корабль. – Он и повезет нас на забытый Богом остров.

Я откланялся. Император, как обычно, забыл меня поблагодарить. Потом вспомнил – и потрепал по щеке...

Самое удивительное – он был в хорошем настроении. После всего, что случилось!

И только теперь, по прошествии стольких лет, я окончательно понял – почему!

Наш первый день плавания. «Нортумберленд» – огромный семидесятичетырехпушечный фрегат. Его сопровождает целая эскадра, я насчитал девять кораблей. На палубах все красно от мундиров англичан – на остров везут наших тюремщиков. Две лучшие каюты на фрегате занимают император и командующий флотилией адмирал Кокберн.

Император вышел на палубу – провожает уходящие берега Англии. Прощается с Европой, которая должна была ему принадлежать... Возвращается в каюту. И более не выходит. Даже к ужину.

Почти все время он проводит в своей каюте по правому борту. Там есть туалетный столик, умывальник и два кресла. И серый матрас на полу у койки императора – на нем спит верный Маршан...

Каково же было мое удивление, когда я недавно узнал, что Маршан, этот бессловесный преданный пес, тоже вел дневник! Он описал жизнь императора на острове... точнее, его смерть... его загадочную смерть. А я-то считал, что простодушный Маршан делал только то, что ему приказывал император... Или?.. Или, может быть... это был тоже приказ – писать дневник?.. Ну конечно, как же я сразу не понял!

Сегодня, пока император гулял по палубе, Маршан наводил порядок в его каюте. Он заменил корабельную койку той самой походной кроватью и с моей помощью укрепил над ней полог из зеленой тафты.

Маршан говорит мне:

– На этой кровати император отдыхал перед Аустерлицем, Ваграмом и Фридландом. На ней он провел ночи великих побед...

Та самая кровать, на которой император умрет.

Он встает, как обычно, на рассвете. Маршан приносит ему черный кофе. Сразу после кофе должен появляться я.

Император в халате и шлепанцах стремительно ходит по каюте (зверь в клетке!) и, к сожалению, столь же стремительно диктует. Он ничего не умеет делать медленно, он подчинен другой скорости, живет в другом измерении... Мне приходится придумывать всё новые иероглифы для сокращения слов, с их помощью я веду непрерывную запись до обеда. Пока император обедает, я диктую расшифрованное сыну. Ему вчера исполнилось пятнадцать лет – взрослый мальчик. Я все вспоминаю, как жена не хотела его отпускать... нет, без него бы я не справился...

Обед императора: мясо и немного вина «Шамбертен».

Потом Маршан опять приходит за мною. Я возвращаюсь. И вновь диктовка...

На следующий день император прочитывает записанный текст и вносит свои изменения – поправляет каждый абзац до двух десятков раз. А потом... все зачеркивает. Но я копирую для себя каждую запись.

Император отпускает меня обычно глубокой ночью. Я едва успеваю доползти до койки, падаю и сплю.

Сегодня необычный день – император отпустил меня вечером. Стоит прелестная погода, штиль. Он решил прогуляться по палубе.

Маршан приносит ему знаменитый зеленый мундир. Император выходит на палубу и останавливается, опираясь на пушку (его любовь). И молодые английские офицеры застывают, встают на караул. Кокберн ничего не может с этим поделать – он сам давно попал под обаяние бога войны. И уже не говорит императору «господин генерал», хотя, говорят, поклялся в Лондоне, что другого обращения тот от него не дождется.

После прогулки император идет в офицерский салон. Здесь приветствия офицеров звучат согласно строжайшему приказу: «Добрый вечер, господин генерал» или «Здравствуйте, Ваше превосходительство». Император не отвечает... В салоне его ждет свита. Наконец-то он слышит:

– Добрый вечер, Сир!

И только тогда здоровается.

Император сказал мне вчера: «Как они смешны со своим «генерал Бонапарт»! Мои победы давно сделали очевидным для всех: слово «император» навсегда срослось с именем «Наполеон». Навсегда!»

В салоне он играет в карты с Кокберном, Монтолоном и Бертраном. Проигрывает, как обычно, свои золотые наполеондоры, которые со вздохом вручает ему Маршан. Или играет в шахматы с одним из наших, чаще всего с Бертраном (и тоже безнадежно проигрывает). Английские офицеры изумляются: как великий стратег может быть столь бездарен в шахматах? Они не понимают – его мысли далеко. Он обдумывает нашу работу...

Ужин накрывают в другой части полуюта (уточнение для истории). Император сидит во главе стола. По левую руку – адмирал Кокберн, по правую – Бертран со своей белокурой Фанни, Монтолон и я. Беседа ведется по-французски (я или Фанни переводим Кокберну).

После ужина император вновь прохаживается по палубе в сопровождении адмирала. Они ходят под руку, представляя собой забавную пару – высокий худющий Кокберн и коротенький толстый император...

Кокберн и все остальные скоро пойдут спать. А он... Ночью за мной неумолимо придет Маршан. И в свете свечи под стеклом, под тяжкий ропот океана мы продолжим...

Император диктует:

– Париж в семьсот девяностом – сладкие каникулы революции. Плотина запретов сметена! Сводящий с ума воздух шалой свободы... все опьянели... В саду Тюильри – выставка туалетов. Шпаги дворян, галстуки адвокатов, сутаны священников... и множество красавиц... Бесконечный праздник ораторов: диспуты повсюду – в клубах, в кафе, в Законодательном собрании, в ресторанах, театрах и даже в публичных домах. Громовые речи Мирабо... И все это наблюдаю я, жалкий лейтенант, ослепленный этим пиром накануне крови...

Он останавливается, и мы вычеркиваем слово «жалкий».

– Но скоро из многообразия туалетов останутся одни нищие куртки санкюлотов, потому что за всеми этими счастливыми людьми, пьяными от свободы, следят трезвые глаза законных детей революции – глаза Марата, глаза провинциальных адвокатов, которые жаж-

дут двигать революцию вперед... Вперед – значит, к крови! Ибо у революции есть только один двигатель —кровь. И вот уже Дантон под восторженный рев толпы прокричал: «Мы будем их убивать, мы будем убивать священников, убивать аристократов... и не потому, что они виновны, а потому, что им нет места в грядущем, в будущем!»

Но тут-то и была его великая ошибка. Он почему-то думал, что революция убивает сословно. Он еще не знал, что гильотина – демократична! Ибо революция, как Сатурн, пожирает и своих законных детей! И скоро, скоро они все поедут на казнь. И отец революционного Трибунала Дантон, приговоренный к смерти тем же Трибуналом, и Робеспьер, и Сен-Жюст... всех пожрет эта вечно голодная до крови дама...

Я пережил это время в скучном своем полку, но я знал – скоро меня призовет слава... Республика задыхалась в огне мятежей и интервенции. Восстал Лион, и усмирять его был послан мой будущий министр, депутат Конвента Фуше. Он велел взять двести юношей. Их связали веревками. И в этот сгусток человеческого отчаяния он палил из пушек. Я читал его воззвание: «Пусть их трупы доплывут до Тулона, внушая ужас врагам Республики».

Император усмехнулся.

– Потом я часто напоминал Фуше о Лионе и о том, как он голосовал за смерть короля. Но эта хитрая лиса неизменно отвечала: «Чего не сделаешь, Сир, чтобы освободить место вам...» Фуше хитер и подл, а все думают, что умен. И самое глупое – он сам поверил в свой ум. Мерзавец не понимает, что вся камарилья во главе со старым маразматиком Людовиком, которая благодаря ему нынче въехала в Париж, уже завтра пожелает забыть, кому она этим обязана. Зато вспомнит его кровавые дела. Когда его вышвырнут из Парижа, ему придется понять: быть ищейкой, предателем – это он умел, но быть политиком – выше его разума... Впрочем, вычеркните все это, я не хочу марать будущую книгу.

И опять он вернулся в прошлое:

– Но как забилося мое сердце от странного предчувствия, когда я услышал: «Вслед за Лионом восстал Тулон». Роялисты захватили город и призвали армию интервентов. Семь тысяч испанцев, восемь тысяч пьемонтцев и неаполитанцев, а также две тысячи англичан и стоящие в порту британские корабли обороняли мятежный город. Тулон стал головной болью революции. Который месяц у защищенного с моря и суши города беспомощно топталась наша армия...

Но судьба... Запомните – если она служит вам, вы всегда окажетесь в нужное время в нужном месте. И вот уже мимо Тулона проезжает посланный за порохом в Авиньон капитан Бонапарт, и в это же самое время командира артиллеристов (я помню его имя – Даммартен) тяжело ранят, а в Тулонскую армию в это же время прибывает депутат Конвента, давний знакомец Бонапарта – корсиканец Саличетти.

Мы обнялись и заговорили на языке нашей родины. Он пригласил меня в палатку. Узнав, что я капитан артиллерии, он открыл рот, чтобы рассказать о ранении Даммартена. Но я уже знал – все тот же голос судьбы... И тотчас придумал, как действовать.

Я предложил ему прогуляться. И, показав на стоявшее неподалеку орудие, сказал: «Вы плохо ведете осаду! К примеру, какая польза от этого орудия, если вы не умеете даже правильно его поставить?» Саличетти воззрился на меня в крайнем недоумении, и я пояснил: «Ядро из этой пушки не долетит не только до укреплений Тулона, но даже до моря. Хотите пари?» И не дожидаясь его ответа, приказал артиллеристу: «Заряжай!» Три выстрела подтвердили мою правоту. А дальше было все, как я и ожидал: потрясенный моими знаниями, Саличетти тотчас предложил мне заменить Даммартена.

Я согласился, и он сел писать в Конвент. Ему нужно было обосновать мое назначение, ибо во времена террора все боялись обвинений в предательстве. Головы летели каждый день. Я стоял над ним и видел, как перо его выводило: «...и случай нам помог: мы остановили проезжавшего мимо очень сведущего капитана Буонапарте и приказали ему заместить ране-

ного». Случай? Да. Но – мой случай! Теперь все, что я продумывал в полку бессонными ночами, можно было начать осуществлять.

Крепости берет артиллерия. Но сначала надо было наладить дисциплину среди моих артиллеристов – этой вольницы санкюлотов... Я был худ, страдал от чесотки и сзади меня часто принимали за девочку. Подчинить этих полупьяных великанов можно было только одним – мужеством. Я велел укрепить над батареей знамя с надписью: «Батарея бесстрашных». И теперь во время артиллерийских дуэлей с тулонцами я поднимался на бруствер и преспокойно стоял под ядрами, скрестив руки на груди. Мои артиллеристы смотрели на меня сначала с изумлением, потом с великим трепетом. Они поняли: я не знаю страха. Но я пошел дальше – велел уничтожить укрытия, в которых они прятались от ядер (и оттого стреляли слишком медленно). Сюда, на батарею, под вражеский огонь я охотно приглашал всех этих революционных бездельников – инспекторов из Парижа. И уже через мгновение они с ужасом спрашивали: «Что у вас здесь служит защитой?» А я отвечал, стоя на бруствере: «Как вы уже поняли, граждане, защитой нам служит наш патриотизм!» Под хохот моих артиллеристов они в страхе кланялись каждому ядру, а потом попросту падали ничком на землю...

Я помню молоденького солдата, бросившегося на землю вслед за этими трусами, когда прямо на нас полетело ядро. Оно разорвалось совсем рядом со мной, я был покрыт грязью, но – ни единой царапины. И я сказал солдату: «Глупец, ты видишь – я невредим! Ибо если это ядро было предназначено мне, а я зарылся бы в землю на тысячу футов, оно и там нашло бы меня». И мои артиллеристы окончательно поверили, что я заговорен. Теперь они подчинялись мне абсолютно.

Все разбросанные по побережью орудия я приказал собрать вместе. Артиллеристы свозили их со всего побережья под обстрелом противника... И доблестно погибали под огнем... Генерал Карто (до революции он был плохим художником, а теперь этот болван командовал Тулонской армией) ничего не понял и потребовал от меня прекратить терять солдат, намекая, что это пахнет изменой. Испуганный Саличетти ему не возражал... но мне помог Огюстен Робеспьер⁸, присланный от Конвента вместе с трусливым корсиканцем. И еще умница Дюгомье – этот генерал мне тоже сразу поверил. Помню, они собрались в палатке, и я произнес перед ними неплохую речь. Я учил их новой тактике – моей тактике: «Чтобы обороняться и выжить – надо дробить свои силы. Но чтобы атаковать и победить – силы необходимо объединять. Мы атакуем. И весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку, нанести мощнейший удар на одном участке. Пробить брешь в обороне противника! И если брешь пробита – судьба битвы решится в мгновение, сопротивление станет бесполезным».

И я показал на карте высоту Эгильет, где надо было пробить эту смертельную для противника брешь. Высота господствовала над рейдом, оттуда можно было разбомбить флот англичан. «Вот здесь Тулон!» – сказал я. Но болван Карто никак не мог понять, почему Эгильет – это Тулон. Несчастный генерал подумал, что этот мальчик, тонкий, как щепка, с висящими по щекам невымытыми патлами, нервно расчесывающий себя до крови (как меня донимала чесотка!) просто не силен в географии. И он начал объяснять мне, где находится Тулон... Я едва не расхохотался.

Но Огюстен Робеспьер и генерал Дюгомье поняли меня. И мы штурмовали Эгильет. Я был в самом пекле, в голове атакующих. Подо мной убило ядрами трех лошадей, но сам я был лишь легко ранен пикой. Я превозмог весьма сильную боль... скрыл свою рану – солдаты должны были верить в мою неуязвимость. И они запомнили – и про трех убитых лошадей, и про неуязвимого Бонапарта! Но в решающий момент, когда противник уже готовился сдаться (ах, как я всегда чувствовал этот миг!), этот идиот Карто велел отступить...

⁸ Брат диктатора.

И опять они собрались в палатке, и опять я заставил их поверить мне. Огюстен Робеспьер приказал повторить штурм. Собрав все батареи в единый кулак, я не покидал своих артиллеристов ни днем ни ночью – спал на земле рядом с пушками, завернувшись в шинель... И был второй штурм. Я отлично обработал ураганным огнем форт Мюльграв, прикрывавший высоту Эгильет. И уничтожил гарнизон.

И я сказал Огюстену: «Теперь ступайте с Богом отдыхать. Считайте, мы уже взяли Тулон. Через два дня вы будете там ночевать».

Император смотрел в окно каюты, мимо которой прохаживались по палубе английские матросы. Но он их не видел – он был в Тулоне...

– Да, все было кончено! Мы захватили форт, а потом высоту. Оттуда я устроил ад для английского флота. Два дня непрерывной канонады – и начался новый штурм Тулона. Семь тысяч солдат бросились в атаку. И опять в разгар боя мне стало ясно – вот-вот дрогнут атакующие. Я опять чувствовал этот решающий миг битвы! И тогда я бросил в бой мой резерв. Я сам повел солдат в пекло сражения! И решил его исход. Началось жалкое бегство защитников города на английские корабли. А потом уходящая, точнее, убегающая в открытое море английская эскадра...

Тулон, считавшийся в Европе неприступной крепостью, был взят! Великий день – семнадцатое декабря девяносто третьего года. Британские газеты отказывались верить – Тулон, защищенный с суши и с моря, пал?! Да, моя звезда взошла. Это было первое из шестидесяти великих сражений, которые меня ждали. Шестидесять побед! Больше, чем у моих кумиров, вместе взятых: Александра Македонского, Цезаря и Ганнибала...

Огюстен в подробном докладе написал обо мне в Париж. И, конечно, после доклада брата всемогущего Максимилиана – немедленный результат: звание генерала. Мне было двадцать четыре... генерал Бонапарт. И вот теперь, через двадцать два года, они хотят оставить меня в том же звании...

Император засмеялся. Он уже вернулся в реальность и поглядел на англичан, гулявших по палубе:

– Как они бежали из-под Тулона... А утром я сказал себе, приветствуя наступающий день: «Это взошло твое солнце».

На следующий день, передавая императору свои записи, я осмелился сказать:

– Может быть, Сир, стоит закончить ваш рассказ фразой: «В Тулоне он впервые встретился с Историей, чтобы более никогда с ней не расставаться»?

Но он лишь расхохотался.

– Впрочем, даже эту банальность можно как-то спасти... – И он исправил: – «В Тулоне он впервые вы. л Историю». – (Обожает солдатские словечки!) – Но так как этого писать нельзя, умоляю – впредь ничего не придумывайте сами. Моя жизнь и без того слишком патетична!

Во время прогулки по палубе я услышал, как император с усмешкой спросил адмирала Кокберна:

– Не скажете ли, сэр, где был «Нортумберленд» в те дни, когда я захватил Тулон и выгнал оттуда английские гарнизон и флот?

– Про судно не знаю, – ответил адмирал, – но я был среди тех, кого вы прогнали...

Вечером император сказал мне в каюте:

– Он не знает! И это люди чести?! Я уверен, «Нортумберленд» был в той самой эскадре, которую я вышвырнул из-под Тулона. Поэтому они и пересадили меня на этот корабль. Жалкая месть! Впрочем, это в обычаях британцев. Взять Веллингтона... После моего первого отречения он уговорил старого маразматика⁹ отдать ему мою великолепную статую, сделанную Кановой. Он мстительно поставил ее в своей прихожей, и теперь гости вешают на нее свои шляпы... Где благородство?! Я уверен: этот господин сделал все, чтобы отправить меня на этот остров, ибо он боится, что я снова вернусь... Он знает, что дважды победить Наполеона – невозможно!

Однако за дело... В Тулоне я встретил Новый год, а четырнадцатого января стал генералом. В тот день мы с Огюстеном сидели в маленьком кафе на набережной. С моря дул вечный бриз. Молодость, удача! Огюстен позвал меня с собой в Париж. Он рисовал мне картины столичного будущего. Я было открыл рот, чтобы с благодарностью согласиться... и вдруг отчетливо понял – нельзя! И с изумлением услышал, как я отказываюсь! И Огюстен с таким же изумлением смотрел на меня. Он ничего не сказал, только пожал плечами. Молча допил свою чашечку кофе и ушел – обиженный. Он отбыл в Париж, а я остался на юге командующим артиллерией... проклиная себя за отказ. Но через полгода наступило девятое термидора, и я понял – судьба спасла меня.

Я столько передумал об этом дне. Какая сцена для великой пьесы! В бывшем придворном театре королей Конвент сыграл последний акт нашей революции! Я хорошо помню эту залу Конвента – здесь приговорили к смерти ничтожного короля. Теперь здесь же предстояло исполнить главный закон революции – истребить ее любимых детей...

Жара, июль... Брут, Марат, Солон глядят со стен. Огромная статуя Свободы опирается на земной шар. Тогда это была лишь мечта. Во время моего правления Свобода воистину обопрется на весь мир... Кресло председателя, выполненное по рисунку Давида... За креслом портьера, скрывавшая вход в салон, где совещались хозяева Конвента. Вот оттуда и вышел как всегда уверенный и как всегда сильно напудренный Робеспьер. Бедняга не знал, что заговор уже составлен. Заговор тех, кто молча и трусливо наблюдал, как великие революционеры истребляли друг друга! Заговор негодяев против кровавых фанатиков! Впоследствии я говорил со многими его участниками – хотел отделить легенду от истины.

Робеспьер начал говорить, но они ему не дали. Ему стало плохо, он попытался сесть на скамью, а они кричали: «Не смей туда садиться, это место Демулена, которого ты убил!.. И сюда не смей – это место Верньо, которого ты уничтожил!..» Он пытался продолжать говорить, но от волнения поперхнулся. И тогда прогремели эти слова, которые закончили великую революцию: «Кровь Дантона душит тебя, несчастный!»

Каков эпилог! В ночь на десятое термидора в Парижской ратуше с челюстью, раздробленной пулей, лежал всемогущий Максимилиан. Около него суетился жандарм, совсем мальчик, уверявший, будто это он стрелял в Робеспьера. Вчерашнего диктатора перенесли в Консьержери... он лежал в камере, глотая кровь. Впоследствии я отыскал врача, который выдернул из его раздробленной челюсти осколок кости и несколько зубов. И врач подтвердил мне то, в чем я всегда был уверен, – жандарм ни при чем, это была попытка самоубийства. Жалкий конец... Для истории ему надо было подняться на эшафот, как Дантону, – и попрощаться... нет, не с народом... народ, чернь – пустое, но с Историей, со Славой!

Его положили на доску. Упал нож гильотины... Фуше, истинный отец переворота, рассказывал мне, как палач уложил между ног голову с рыжеватыми волосами, на которых осталась пудра, а в глазу застрял кусок стекла от разбитых очков... Вместе с ним лег под нож и Огюстен... Огюстен был чертовски талантлив. Сам Максимилиан был негодный диктатор: он так и не понял свою задачу и оттого погиб. Впрочем, задача эта была ему не по силам. Эту

⁹ Людовик Восемнадцатый.

великую миссию – умирить революцию, умирить народный гнев, ввести в берега безумное половодье – он оставил мне.

В революции есть всего два сорта вождей – те, кто ее совершают, и те, кто пользуются ее плодами... Пришло время срывать плоды с дерева революции, и к власти пришли воры и негодяи. Началась «охота на ведьм». Под радостные крики толпа разбивала статуи великих революционеров, которым еще вчера поклонялась.

Я счастливо избежал гильотины, которая мне наверняка грозила, если бы я поехал с Огюстеном в Париж. Правда, тюрьмы не избежал. Очутился я там уже через две недели после казней в Париже по обвинению в близости к врагу народа Огюстену Робеспьеру и... в намерении сдать англичанам Марсель! Кровавый бред кружил головы! От страха все помешались на доносах... Кому я был обязан этим диким вздором? Я узнал это на первом же допросе. Тому, кто действительно был близок к Огюстену, моему приятелю Саличетти!

Император засмеялся.

– Таким образом трус пытался спастись сам!.. А я сидел в тюрьме под Ниццей и смотрел сквозь решетку на море. С крыши тюрьмы в ясную погоду можно было увидеть в бинокль очертания далекой земли – мою Корсику. В тюрьме мне исполнилось двадцать пять. Что ж, четверть века прожил, следовало подвести итоги... За это время я многое успел: был объявлен вне закона на родине, жил в нищете и... стал одним из самых молодых генералов Республики!

Мне предлагали бежать. Я отказался – зачем? Если судьба предназначила меня для великих дел, я и так буду на свободе. Если этого не случится, значит, я обычный смертный и тогда стоит ли жить?! Лучше гильотина! Я был совершенно спокоен.

Я решил написать письмо в Париж. Хотя знал: во время «охоты на ведьм» лучше затаиться. «Опасно напоминать о себе обезумевшему Парижу», – так посоветовал начальник тюрьмы, весьма мне симпатизировавший. Но я был уверен: судьба за меня! И я написал: «Хотя я оклеветан без вины, не хочу роптать и жаловаться на Комитет общественного спасения. Я не слишком ценю свою жизнь и только вера, что могу послужить Отечеству, позволяет мне все это переносить и просить вас, граждане: «Разорвите мои цепи!»

Сколько подобных молений они получали... Тщетных молений! И сколько невинных отправилось в те дни на эшафот после подобных писем! Но со мной свершилось чудо. Всего через две недели вместо путешествия на гильотину я гулял на свободе. Так я проверил мои отношения с судьбой...

Выйдя из тюрьмы, я узнал, что Саличетти находится в бегах. Через друзей-корсиканцев (мы всё всегда знаем друг о друге) я выяснил, где он скрывается. Он прятался у любовницы, пережидая время казней... И я написал ему: «Я мог бы отомстить тебе, но не трусь: этого я не сделаю, никому не скажу о тебе ни слова. Ибо никогда не забуду твои благодеяния, мой вчерашний товарищ...» Еще бы – ведь это он помог мне встретиться с Историей, смел ли я забыть это?

Новые власти предложили мне отправиться в Вандею. Героя Тулона хотели заставить умирять бунтовавших крестьян! Я предпочел отставку и поселился в Париже. Устроился работать в топографическом отделении военного министерства. Получал гроши, да и выдавали их не всегда аккуратно, так что обедал по знакомым... Вечно голодный, задолжал всем – прачке, ресторатору, бакалейщику, виноторговцу... До сих пор помню этот ужас, когда раздавался стук в дверь – кредиторы! Чаше других приходила прачка – чудовище необъятных размеров с громоподобным голосом. Она свирепо требовала заработанное.

Самое тощее существо в Париже самого странного вида... это был я! Представьте себе: «собачьи уши» (так называлась моя старенькая треуголка с опущенными полями), жидкие волосы до плеч, потертый генеральский мундир и вечно мрачный взгляд... Моя работа в

министерстве заключалась в бумажной писанине – инструкциях для нашей дурно экипированной армии в Италии, с трудом сдерживавшей натиск австрийцев. Но по ночам с этой жалкой армией я одерживал победу за победой... на карте, при свете огарка свечи, который я должен был к тому же экономить. В своей нищей комнатухе, забывая о голоде, я громил хваленые австрийские войска, оккупировавшие мою Италию, родину предков. Я грезил об этих победах непрерывно...

И я решил действовать. Добился аудиенции у Барраса¹⁰. Ему рекомендовал меня генерал Лютиль, участвовавший в штурме Тулона.

До революции виконт Баррас был королевским офицером. Этот высокий красавец соединял всю испорченность старого режима с кровавым цинизмом людей революции. Его жизнь была похожа на роман, кровавый и похотливый, и с самыми гнусными иллюстрациями. Он был способен на переворот, на убийство, мог ограбить монастырь и завоевать колонию на краю света... Теперь он жил как всемогущий революционный принц, окруженный любовницами, льстецами и ворами-финансистами.

Как я ждал этой встречи! Когда я вошел, Баррас уставился на меня с величайшим недоумением – ему было трудно поверить, что перед ним герой Тулона... так я выглядел. Я был... – император усмехнулся и посмотрел на меня, – даже хуже вас, Лас-Каз.

«Однако вы слишком молоды, генерал», – сказал мне Баррас. Я не смог отказать себе в ответе: «На полях сражений, гражданин, взрослеют быстро. А я не так давно с поля боя». Баррас из вежливости спросил меня о Тулоне. Я с наивным жаром стал рассказывать... и натолкнулся на его отсутствующий взгляд, с открытой скукой блуждавший по моему изношенному мундиру. В это время в кабинет заглянула красивая дама...

Я подумал, что хорошо знаю «красивую даму». Жозефина была тогда любовницей Барраса...

Император строго посмотрел на меня и продолжил:

– После чего Баррас заторопился и попросил меня изложить мое дело. Я начал пересказывать восхитительные проекты побед в Италии, выношенные на моем чердаке. «Нам надо перестать обороняться, – горячился я. – Самим напасть на войска австрийцев в Италии. На штыках понести в Европу нашу свободу». Баррас совсем заскучал. Ему, как и всем им, новым повелителям, было не до Свободы. Все, что не сулило денег, было им скучно. Он откровенно ждал, когда я закончу. И торопливо поблагодарил меня, как только я замолк. Я понял, что уйду ни с чем.

Но я в нем ошибся. Он был мерзавец, но талантливый мерзавец. И, видно, оценил и хорошо запомнил меня. Всего через три месяца он меня позвал... Тогда этих зарвавшихся воров уже никто не поддерживал. Как говорили в предместьях: «Мы хотим власть, при которой хотя бы едят!» И богачи, и роялисты решили – пришла пора покончить с жалкой Директорией! Восстали богатые центральные районы Парижа... Они приготовились прийти в Тюильри, где заседали Конвент и Директория, и смести их, как когда-то в том же Тюильри восставшая толпа смела королевскую власть. Рабочие окраины угрюмо хранили нейтралитет...

Испуганная Директория назначила Барраса главнокомандующим вооруженными силами. Это были жалкие силы. И двадцать тысяч восставших приготовились разгромить шесть тысяч защитников Конвента. Что он мог, Баррас? Стрелять в толпу? – Император презрительно засмеялся. – Это было для них табу. Грабить толпу – вот это пожалуйста! И вот

¹⁰ Один из главных организаторов термидорианского переворота, член Директории – правительства республики после гибели Робеспьера.

тогда Баррас и вспомнил о странном генерале, совершившем что-то героическое под Тулоном.

Ночью в мою каморку постучали. Меня привезли в Тюильри. Первый раз я был там. И когда вошел... тотчас понял: я пришел в свой дом.

Баррас предложил мне защитить Конвент. Он не слишком надеялся на мое согласие – ведь он предлагал мне погибнуть вместе с ними. К его изумлению, я согласился тотчас. Тюильри – мой будущий дом, и я знал, что сумею его защитить. Без всяких колебаний я решил сделать то, что когда-то советовал жалкому королю... Впереди у меня была ночь...

«Как вы намерены защищаться?» – спросил Баррас.

«Шпагой. Шпага всегда при мне, и с ней я далеко пойду. Будьте любезны, гражданин, вызвать ко мне командира солдат, охраняющих Конвент...»

Командир пришел. Я сразу его оценил – он был из тех, кто не боится самого черта. Его звали Иоахим Мюрат. Я приказал ему привезти пушки, стоявшие на площади Саблон. «Если не дадут добровольно, отнимите, убивайте, но пушки должны быть здесь к утру!»

Этот дьявол сразу повеселел. Он рвался в бой.

«Я не понимаю, зачем вам пушки?» – спросил Баррас. И в голосе у него был испуг.

«Пушки, гражданин, обычно нужны для того, чтобы стрелять», – ответил я.

«Вы собираетесь стрелять в людей?»

Никогда не забуду восторженный ужас на лице Барраса.

«Да, я собираюсь исправить ошибку короля, который когда-то не посмел этого сделать».

К утру моя батарея ждала восставшее быдло... И вот уже – рев приближавшейся толпы. Торжествующий вопль черни, поверившей в свою наглую силу. Они уже близко, у церкви Святого Роха... И тогда я скомандовал: «Картечью – пли!» И ступени церкви покрылись трупами... Так я рассеял толпу, наступавшую по узкой улице.

В Тулоне я разработал план, но не я отдавал приказ о штурме. Впервые я видел убитых по моему приказу. Трупы, много трупов... лежащих ничком в разных позах... сколько их я еще увижу на полях сражений! Запишите: «Во мне всегда жил добрый человек, но добрые струны души я заставил замолчать. И они уже больше двух десятилетий не издают ни звука». Хотя...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.